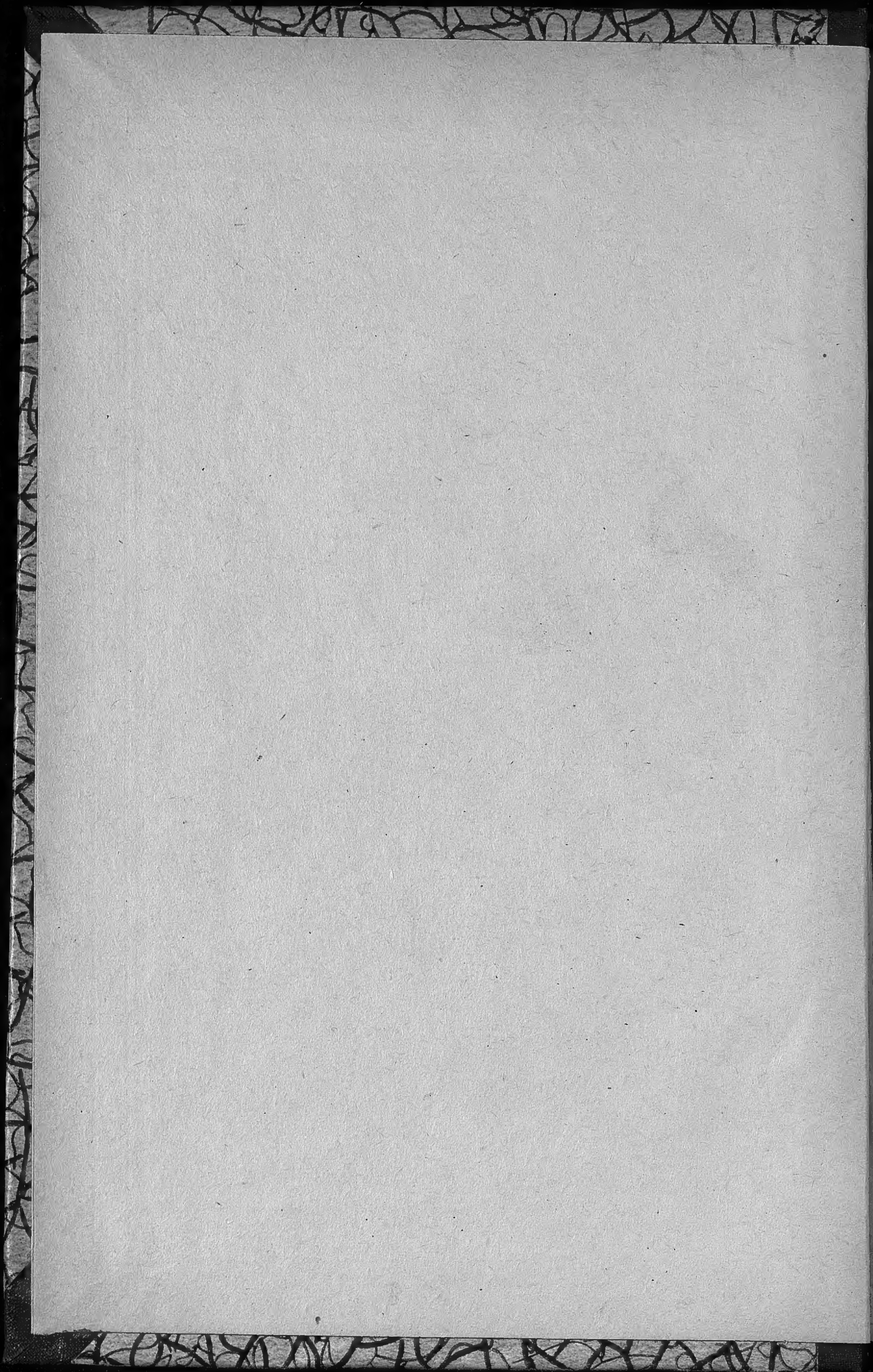


Ильин. Л. и Панасюк. О.

ВЕЛИКИЕ ГОДЫ на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

ХРЕСТОМАТИЯ

допущена Гус'ом



СЕВКАВКНИГА 1926.

ВЕЛИКИЕ ГОДЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

ХРЕСТОМАТИЯ

ПОДСЕКЦИЕЙ РАБОТЫ СО ВЗРОСЛЫМИ НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА ДОПУЩЕНА В КАЧЕСТВЕ ПОСОБИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛ ПОВЫШЕННОГО ТИПА, ВТОРОЙ СТУПЕНИ И РАБФАКОВ

СОСТАВИЛИ:
ИЛЬИН Л. и ПАНАСЮК О.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ КРАЕВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕВКАВКНИГА»
РОСТОВ-ДОН ∴ 1926.

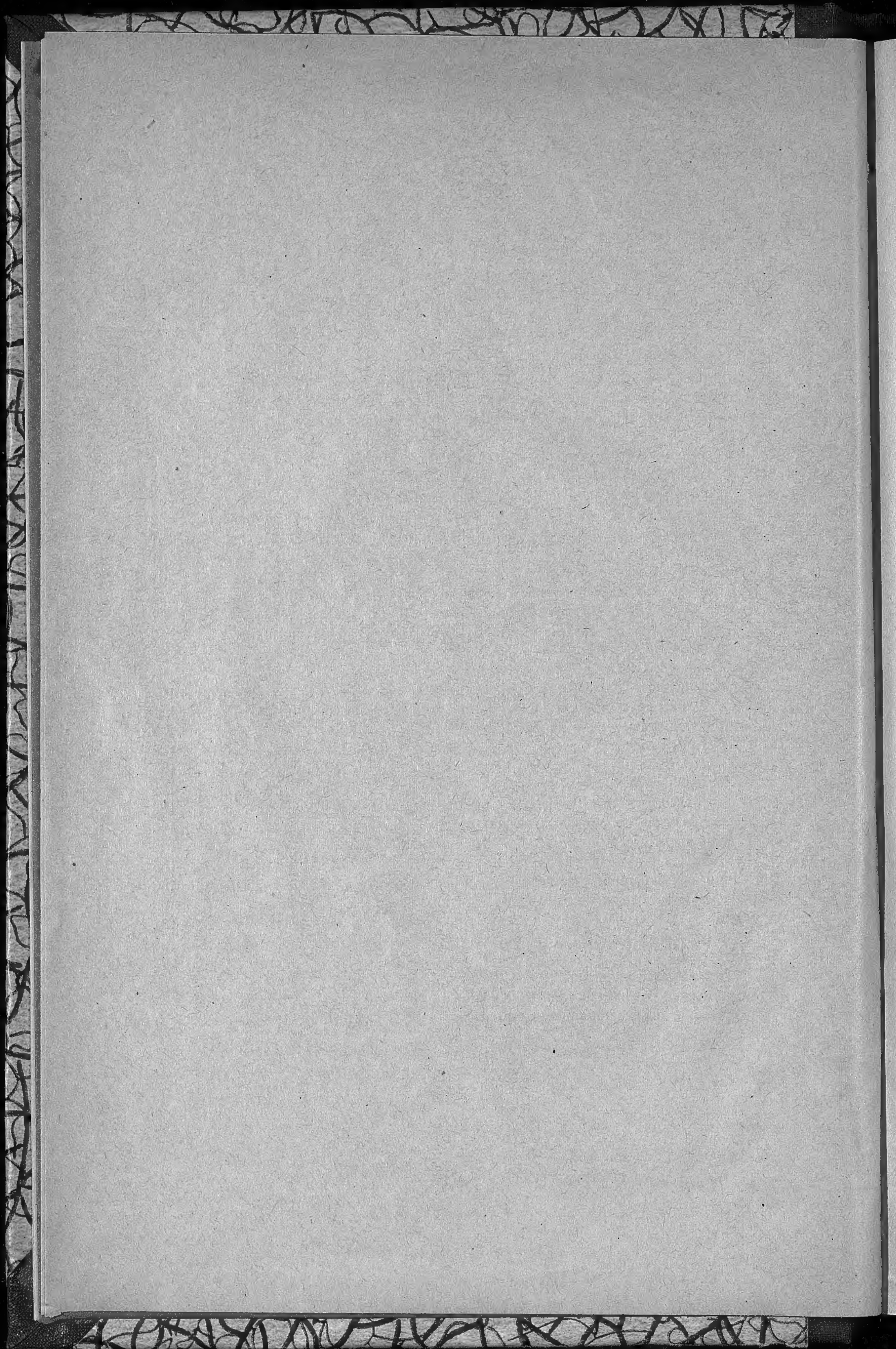
Отпечатано
в Главной типографии
Кубан. Окружн. Объединения
полигр. пром. „Кубполиграф“
(г. Краснодар, Красноарм., 39)
в октябре 1926 года.
Издание № 420.





Кубокрлит № 2993. Заказ № 1151. Тираж 10.000 экз

ОГЛАВЛЕНИЕ.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Северный Кавказ, один из богатейших хлебородных и нефтеносных районов России, играл важную роль во всей истории революционного движения. Но здесь классовая борьба, в силу национальной и сословной розни, всегда имела свои особенности. Здесь классовая борьба еще усугублялась и дополнялась борьбой горских народов против господства русских.

На голову разбитая Октябрем в центральной России буржуазия—помещики, генералы, юнкера—весь цвет контр-революции—хлынула на Северный Кавказ. Здесь буржуазия надеялась, и не без основания, черпать для своего дела живые и материальные силы и помощь Антанты, которая, кроме ненависти к большевикам, питала особо нежные чувства к кубанскому хлебу, бакинской и грозненской нефти.

С другой стороны, Октябрь в России послужил призывом для борьбы крестьян-иногородних против зависимости от казаков и угнетенных горцев против русского насилия. Вот почему гражданская война на Северном Кавказе носила характер самой острой, упорной, невиданно-жестокой кровавой борьбы. Этим объясняется, что многие авторы художественных произведений о гражданской войне черпали материалы для своего творчества именно из борьбы на Северном Кавказе.

Северный Кавказ вписал много славных страниц в историю революции в России. Самая яркая его страница — гражданская война.

Представить титаническую борьбу угнетенных классов и народов Северного Кавказа за победу российской пролетарской революции в полном ее свете еще рано, это — дело будущих историков. Но то, что дала уже художественная литература в очерках отдельных событий, при концентрации их в одной небольшой хрестоматии, может оказать услугу молодому поколению учащихся при изучении истории революции своего Края.

Материал расположен в таком порядке, чтобы можно было проследить, конечно относительно, все важнейшие события этих лет, начиная первым восстанием Красной гвардии в Ростове и кончая гражданской войной у берегов Черного моря и началом хозяйственного строительства.

Много внимания уделено вопросу об отношении различных групп населения к гражданской войне вообше и боровшимся сторонам в частности, поэтому составители сочли необходимым для полноты картины включить некоторые материалы и нехудожественного характера — из военных очерков и мемуаров бывших белых (Р. Гуля и Г. Виллиама).

Хрестоматия имеет целью помочь политическому воспитанию молодежи, углублению ее классового самосознания, закреплению коммунистических идей и чувств революционного энтузиазма. Кроме того, хрестоматия преследует задачу — развить устную и письменную речь учащихся, обогатить их словарь и научить разбираться в литературно-художественном произведении.

Отрывки, подобранные для настоящей хрестоматии, снабжены по возможности необходимыми отделами — словариком, вопросами и задачами методического характера, критическим указателем и примечаниями с соответствующими историческими справками.

Учитель массовой школы, организующий себя для педагогической работы в новой методической обстановке, нуждается пока в некотором методическом руководстве. И местные слова не все ему известны. Их надо объяснять. Отсюда неизбежными оказались выше отмеченные отделы хрестоматии. Составители имели в виду одну скромную цель — дать учащимся и учащим книгу, в которой подобран материал по истории великой октябрьской борьбы на Северном Кавказе в художественном, преимущественно, отображении.

Помещаются в хрестоматии автобиографии писателей и несколько критических статей современников (Коган, Полянский). Те и другие рассматриваются составителями, как неизбежный хрестоматийный материал, в виду разбросанности его по журналам и книжкам, часто не доходящим до провинциальной школы, а также, как образцы для самостоятельных работ учащихся и в этом направлении.

Составители.

МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА ШАГИНЯН.

Родилась 21 марта 1888 г. в Москве. По отцу и по матери — армянка. Отец — приват-доцент Московского университета. Училась на Московских высших женских курсах (окончила философский факультет), в университете имени Шанявского у проф. Г. В. Вульфа (минералогия и кристаллография), в Анапской городской прядильно-ткацкой школе (на квалифицированную пряху). Во время революции была заведующей учебно-текстильным делом Донобласти, поставила там первую прядильно-ткацкую школу, читала лекции по овцеводству и шерстоведению. Два года была преподавателем в Донской консерватории (читала историю искусства и введение в эстетику), один год в Петербургском Институте истории искусств (семинарий по музыкальной текстологии).

Начала печататься в 1905 г. в Москве, в журнале „Ремесленный Голос", где поместила революционную „Песню рабочего".

Первая книга, имевшая успех, — „Orientallia". Она выдержала по сю пору 7 изданий.

Лучшей своей вещью считает „Перемену".

В 1917 ГОДУ.

(Отрывок из „Перемены" — М. Шагинян).

Анна Ивановна благополучно вернулась в Ростов. На звонок отворила племянница: Матреши уж час, как нет дома, ушла на собранье прислуги говорить о своих беспокойствах и выставлять свои требования.

— Вот новости — требованья... Жрут, пьют, на всем готовом, их одеваешь, — требованья...

Анне Ивановне хочется всем рассказать, что говорят в Петербурге и на курортах, как поет Северянин о шампанской крови революции, как несомненно документально доказано, что большевики брали немецкие деньги и теперь их

хотят отправить обратно, а немцы воспротивляются. Слышала она также про странную книгу, ходившую в рукописи по рукам. В этой книге одна хронология, числа и числа. Но хронологически точно доказано, что еще от библейских времен существовало еврейское общество, поставившее себе целью забрать власть над миром. У него были отделения в Сирии и в Македонии и во всех городах. Оно собирает налоги со всех евреев, будто бы на социализм. И хронологически точно показано, в котором году должен быть избран на престол еврейский царь...

Но Матреша не возвращается, приходится самой, не отдохнув с дороги, готовить чай. Ноябрьские сумерки падают быстро, дворник в ведре несет уголь,— топить угловую и ванную. Анна Ивановна серебряными ложечками звякает в буфетной о новый сервиз, говоря с гувернанткой Тамары:

— Главное же, Адельгейда Стефановна, не мечтайте о Москве... Москвы нет, выбросьте это окончательно из головы. Я вам должна сказать, что антисемитизм некультурен, и я всегда против того, чтоб Тамара в гимназии позволяла себе замечанья насчет евреек. Но все-таки мы не умнее же Шопенгауэра или там Достоевского... Я говорила с профессорами. Многие держатся мнения, что есть что-то такое антипатичное, особенно, знаете, в массе. Отдельные есть очень славные люди, например, доктор Геллер. Но в Москве, в Москве все иллюзии падают, это что-то неописуемое. Черту оседлости сняли, и они, вы подумайте, не в Волоколамск, не в Вологду или куда-нибудь в Вышний-Волочек, а непременно в Москву. На улицах, на трамваях, в театрах, даже смешно сказать, на церковных папертях—одни евреи, еврейки, говорят с акцентом и на каждом шагу вас в Москве останавливают: „Как, пожалуйста, пройти на Кузнецкий мост?..“ Кузнецкого моста не знают... В Москве...

Супит Адельгейда Стефановна выцветшие брови. Руки у нее трясутся от старости, рассыпая сахарный песок. Уже на вазочки выложено абрикосовое варенье (варилось при помощи извести, по рецепту, каждый круглый абрикос лежит совершенно целый, просвечивая золотом и стекловидным сиропом). Из жестянок ссыпаны сухарики на сливочном масле с ванилью. Электрический чайник кипит.

Дамы давно уже приняли—каждая чашку и, не торопясь, медленно покусывают сухарики, положив рядом с собой на столе

черные шелковые сумочки, различно расшитые бисеринками; из сумочек пахнет духами.

Вдруг — переполох. Из коридора в столовую, стуча гвоздистыми башмаками, вбегает Матреша, как была с улицы, в большом шерстяном платке, лицо круглое, оторопело-сияющее.

— Что такое?.. В чем дело?..

— Сказывають, большевики идуть... Казаков семь тыщ и большевиков четыреста человек, видима-невидима, с Балабаньевской рощи. Которые на митингу ходили, своими глазами видели, а на нашем доме, Анна Ивановна, барыня, пулемет поставють. Всех, говорять, которые к центре, тех говорять, ближе к черте города из помещениев выселять будють...

— Будют, будют, говори толком... Откуда ты взяла? Кто это тебе сказал?

Дамы вскочили с места, обступили Матрешу.

— Анна Ивановна, это же ужасно, если пулемет!. У вас брат—член совета депутатов, позвоните по телефону...

— Да телефон, кажется, не работает....

— Адельгейда Стефановна, Адельгейда Стефановна, позвоните пожалуйста Ивану Ивановичу по телефону...

— Я побегу домой. Скажите, милая, на улицах не стреляют?..

— Что вы, Марья Семеновна, куда вы побежите в такую темноту?!

— Погодите, допьем чай и выйдем вместе.

— Какой тут чай?!. У меня квартира пустая на английском замке, еще обокрадут.

— Ну, как хотите, если не боитесь,

— Чего же бояться? Матреша может меня проводить.

— Нет, Марья Семеновна, я Матрешу отпустить не могу, она должна быть дома, должна. Она слышала, знает, в чем дело, в случае, если придут, вы понимаете, она с ними объяснится. Вот, если хотите, попросите Адельгейду Стефановну.

И после просьбы ветхая немка надевает заштопанный во многих местах кавказский башлык и семенит в галошах, заложенных бумажками, по мокрым плитам, вслед за поспешающей дамой, провожая ее домой.

Вечер сгустился в ночь, крупные капли шуршат по кое-где еще не опавшей жесткой и шершавой от старости листве, прелым пахнет под ногами. Иван Иванович из клуба забегает к сестре.

— Что же происходит? Ради Бога!..

— Пустяки. Опять большевистская авантюра. Им мало, видишь ли, июльского урока. Ходят слухи, будто опять выступили, изнасиловали целый батальон.

— Что ты, как батальон?

— Ну да, женский, который у Зимнего дворца. Потом Зимний дворец разграбили дочиста, сняли гобелены и нашили себе портянок. А у нас в совете большевики радуются: „Поддержим питерских товарищей"...

— Господи, да что же это такое?

— Не волнуйся, казаки близко, у нас не допустят.

Ночь снова разжижалась в ясный сухой день, ветреный и холодный. И глядят, глядят из окон недоуменные очи, одни с испугом, другие с вопросом, с надеждой; люди притихли, опали, как тесто на остуделых дрожжах, съежились, сковались волненьем.

К полудню на площади, мимо собора, промчались казаки, пригнувшись к седлам, с винтовками за плечами, процокали конские копыта по камням, остуженным и уже высохшим от вчерашнего дождика, уже опыленным. За ними помчался ветер, крутя осенние рыжие, черные, красные листья, вздымая осеннюю жесткую, крупную пыль. Вслед за ветром прокаркали галки, перелетая по телеграфным столбам и полуголым деревьям.

— С 12-ой линии выселить всех вплоть до двадцатой и и двадцать четвертой, очистить Соборную.

Кто-то издал приказ, кто-то разнес его по обитателям, и все, кому надо было узнать, узнали. Новые беженцы, новые волны людей с подушками, тачками, курами в клетках, визжащими поросятами, влекомыми веревочкой за ногу и упирающимися в ноги бегущих. Шубы, шапки, шинели, поддевки, картузники, шляпники, папашники с дамскими шляпками и платочками и даже простоволосыми перемешались.

— Вот дожили... То, было, принимали беженцев с западного и восточного фронтов, и расселяли их в домах, что похуже, по двенадцати душ в одну комнату, да с города получали на ремонт, а теперь и сами, здорово живешь, побежали.

— И еще побежишь... Нынче с юга на север, а завтра с севера к югу, по компасу...

— Нашли время для шуток...

На площади, против собора, стоит особняк с пятью окнами на Соборную, в два этажа. Наверху контора нотариуса и внизу

до четырех открыто парадное, впуская клиентов и холод. Туда, ступая, где вовсе уже сухо, без сырости, отстающими от сапогов подошвами и прячась в приподнятый воротник коричневого с обнажившейся ниткой на засаленных перегибах пальто, шел Яков Львович.

Надо было стучать, — контора закрыта по случаю политических осложнений. На стук открыла веснушчатая гимназистка с короткими волосами, как у мальчика:

— Яков Львович! — И вверх по лестнице: — Мамочка, Яков Львович пришел!..

Наверху рядом с приемной и комнатами для клерков, где чинно в футлярах стоят ремингтоны и ундервуды, а по стенам светло-желтого дерева высокие шкафчики с ящичками по алфавиту, — была еще одна полутемная комната, где жила переписчица, вдова с двумя дочерьми — гимназистками, близорукая и с ревматизмом суставов. Там на полу помещалось три тюфяка, на столе же на керосинке подогревался вчерашний суп. Вдова обрадовалась Якову Львовичу, налила ему супу:

— Садитесь, расскажите, что такое творится по улицам?

— Вам бы тоже не мешало куда-нибудь с Лилей и Кусей побезопасней. Шли бы сегодня к нам.

— Ни за что!.. — вскрикнули Лиля и Куся.

Они поглядели разом на площадь, — там пробегали новые толпы беженцев.

Лиля и Куся любили события. Они были крайними левыми и, если б позволила мама, пошли бы хоть в красногвардейцы.... Совсем было принялись за чай. В окна видно, что площадь вдруг опустела. Откуда-то из-за угла, дробно стуча сапогами, прошел отряд желто-серых шинелей и остановился, совещаясь. Лиля и Куся глядели во все глаза; шинели взглянули в их сторону, разделились на группы, и один за другим, молчаливо стуча каблуками по камням, подкидывая на плечи винтовки, пересекли площадь.

— Мамочка, стучат...

Вдова идет отворять, сопровождаемая Яковом Львовичем. Лиля и Куся за нею. Сняли засов и цепочку:

— Кто там?

В переднюю один за другим молчаливо вошло несколько вооруженных. Не отвечая вдове, поднимаются по лестнице. Двое остались внизу, — сторожить.

Наверху остановились:

— Оружие есть? Не прячете офицеров и казаков?

— Оружия нет, и никого не прячем. Вот единственный мужчина, Яков Львович, в гости пришел.

— Покажите документы.

Яков Львович достал из внутреннего кармана свой паспорт грязного вида: „магистр историко-философских наук, Яков Львович Мовшензон“.

Прочитали, вернули.

— Что там наверху?

Не дожидаясь ответа, один из пришедших по лесенке стал взбираться наверх, в открытую чердачную дырку. Там шарахнулись голуби.

— Кто там?

— Голуби, товарищ.

Лиля и Куся отвечают наперегонки. Смотрят глазами, как пиявками, неотрывно в лица пришедших. Они все из рабочих, лет по семнадцати, по восемнадцати, винтовки надели, должно быть, впервые, лица юные, суровые, строже, чем надобно. Многим из них суждено было через несколько дней быть зарубленными в Балабановской роще казаками.

— Город в наших руках, товарищ?—выпалила вдруг Куся, не удержавшись.

— Чего выскакиваешь?—шепчет ей Лиля.

— Город в руках Совета,— отвечает безусый,— предполагается на завтра выступленье. Вы соберитесь отсюда, тут будут обстреливать. Дом мы займем под пулеметную команду.

— А нельзя ли тоже остаться?

— Что ж,—можно; только при каждом выстреле надо ложиться на пол.

— Лиля, Куся, вы с ума посходили!—вырвалось у мамы,— мы соберемся, товарищи, только уж вы тут не дайте вещей разорять.

— Не тронем, не беспокойтесь...

Спустя четверть часа вдова с базарной корзинкой, Лиля и Куся с подушками, а Яков Львович с ручным чемоданом пробегают по темной безлюдной площади, торопясь в ту же сторону, куда проструились давеча беженцы. В дороге убеждает их Яков Львович итти прямо к нему, но вдова беспокоится, слишком далеко. Им тут по пути у богатого родственника, домовладельца,— ближе к вещам и квартире.

Вечером нет электричества. Улицы черны. Безмолвные притушенные кинематографы, больницы, театры, только аптекарь в белом переднике, как ни в чем не бывало, стоит над весами и банками, приготовляя лекарства.

Целый день идет перестрелка по главной улице, целый день верещит, словно ярмарочная сутолока, пулемет с высокого дома на площади, не попадая. Сыплются пули о стены, залетают в районы, где прячутся беженцы, входят в стекло и расплющиваются в подоконнике.

— Пулька, смотри, опять пулька! — кричит Куся, подбирая теплую штучку, — спрячу на память, подарю Якову Львовичу...

— Прочь от окон!.. — раздраженно кричит родственник-старообрядец, — чему радуетесь? Людей бьют, а вы рады, как собачата.

Лиля и Куся радуются. Они не слушают старших; в полдень, когда перестрелка утихла, Куся глядит из полуоткрытых ворот, где домовая охрана поставила семинариста с армянским, несвоевременно густо обросшим лицом, стоять три часа, сжимая ружье монте-кристо, — глядит на торопливо бегущих серых солдат и кричит им вдогонку:

— Товарищи, как дела?

Забегает красногвардеец напиться. От него Куся знает все новости. Казаки идут от Черкасска, а им будет с севера тоже подмога. Иначе — не выдержать, казаков численно больше.

— Держитесь, — шепчет им Куся, впиваясь в них пиявками, пьяными от революции глазами...

С Дона на барже поставили пушку большевики-моряки, навели и обстреливают. Ухнул первый снаряд, вышел новый приказ, — от кого, неизвестно:

„С линий первой и по одиннадцатую, с улиц Степной, Луговой, Береговой и Колодезной всем перебираться повыше, к собору и прятаться там по подвалам“.

Под пулями обезумевшие толпы новых беженцев ринулись на исходе дня расквартировываться повыше, и снова кудахтают оторопелые курицы и пронзительным, острым как уксус, визжаньем сопротивляются поросята сжимающей их за ногу и куда-то волочащей веревке. Подвалы переполнены, хозяев не спрашивают, лезут, где есть калитка, а заперта — стучат остервенело, пугая домовую охрану:

— Пустите, взломаем, пустите...

Но вот расселись по новым местам. Верхние этажи опустели. Снаружи захлопнуты и спущены жалюзи, внутри окна заставлены ставнями, света никто не зажигает. В подвалах, в повалку, дыша друг на друга учащенным дыханьем, прячутся люди, ругаются, молятся богу, советуют друг другу успокоиться и не волноваться. Но дети... прыскают. Их одернут, они замолкнут и — расхохочутся. Им не смешно,— им до судорог весело пьяной радости революции; им бы хотелось повыбежать, быть лазутчиками, барабанщиками, сыпать пули, носить патронташи, выслеживать казаков, пробираться сквозь цепь и торопить подкрепление... Другие мечтают побить большевиков и прогарцовать вместе с казаками, на казачьих лошадках важною рысью вдоль по Садовой, ко дворцу атамана...

И со Степной, где живет Яков Львович, дошли вести: там разорвался снаряд, кого-то убило. Скоро пришла еще одна весть: убило мать Якова Львовича. Плакала в этот вечер вдова и не удержалась, сказала Кусе:

— Вот видишь, а тебе бы все радоваться.

Но и Кусе не пришлось больше радоваться.

К вечеру пули усилились, сыпались, словно горох, а над ними стоял непрекращающийся гул от разрыва снарядов: бум, бум, бум... Беженцы затыкали уши руками, держали детей на коленях, ни глотка не могли проглотить от тошного страха, кто за себя, кто за близкого, кто за имущество...

Но на утро вдруг стало тихо, как после землетрясенья.

В ворота спокойно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и степенно сказала домовой охране,— студенту, стоявшему за учредилку:

— Большаков-то выкурили. Чисто.

Вышли, еще не веря и протирая глаза, отсидевшиеся из подвалов, покупали бутылками молоко и расспрашивали подробности. В открытые ворота уже видно было, как проскакало с десяток казаков по улице, мрачно обмеривая обывателей взглядами.

Начались обыски по квартирам. Искали рабочих, оружие, красногвардейцев. Брали же деньги, вино, кто — шубу снимал или брюки с вешалки,—что поближе висело. Обыватели кланялись, клялись, что и не думали, чисты, как перед богом.

На площади перед собором казачья стоянка. Фыркают лошади, приподымая хвосты и наваливая груды навоза, переступают копытами с места на место.

Седла с навьюченным фуражом им нагрели вспотевшие спины. Винтовки перевязаны в кучку, штыками кверху, и прислонены к ограде собора.

На самой паперти развели костер, кипятят свои чайники, охлаждаемые ветром и снегом. Снег падает легкий и мелкий: влетает пыльцею в рот при разговоре, а под ногами не набирается вовсе.

В городе вышли газеты. Город стал—город казачий. Казаки приказывают, казаки хозяйничают, и городская дума с достоинством выступила:

„Так же нельзя. Мы очень рады казакам, мы очень им благодарны за доблестное очищенье, но город, он—собственный, а не казачий. В городе есть думские гласные, есть, наконец, члены управы, письмоводители, городской голова, и что же им делать?"

Но казаки не слушают, каждый казачествует, как ему любо, ссылаясь на атамана, властителя края: быть теперь Дону под атаманом...

А газеты пишут про историю, этнографию, биографию, фольклор и мифологию казачества, делают ссылки и справки, очень захваливают и надеются на преуспеяние края Брошена журналистами и крылатая мысль о Вандее. Между тем на Степной, со стороны последней 32-й линии, видели люди:

Гнали казаки перед собою рабочих. Рабочие были обезоружены, в разодранных шапках и шубах, с них поснимали, что было получше. Когда останавливались, били прикладами в спину. Их загоняли в Балабановскую рощу. Там издевались: закручивали, как канаты, им руки друг с дружкой, выворачивали суставы, перешибали коленные чашечки, резали уши. Стреляли по ним напоследок и, говорят, было трупов нагромождено с целую гору. Снег вокруг стаял, собаки ходили к Балабановской роще и выли.

Примечание. Областной военно-революционный комитет в Ростове организовался 16/29 ноября 1917 года. Объявил себя высшим органом власти в области, издал приказ о неподчинении временному правительству и генералу Каледину и приступил к формированию отрядов Красной гвардии.

В ответ на это Каледин двинул на Ростов ген. Потоцкого с казаками. Он занял Ростов, разоружил ненадежные пехотные полки и в ночь на 26/XI ст. ст., а 9/XII н. ст. разгромил совет рабочих депутатов. В ответ на налет Потоцкого выступили отряды Красной гвардии, заняли город и арестовали генерала Потоцкого.

Так произошла „перемена“ власти в Ростове, о которой говорится в настоящем отрывке, так совершился „Октябрь“ в Ростове. Красная гвардия держалась в городе два дня, а затем была разбита наступавшими войсками Каледина, и вынуждена была отступить.

Задачи. 1. Обыватель и большевистский переворот. 2. Охарактеризуйте обстановку (материальную) обывателя.

СЛОВАРИК.

Нотариус—должностное лицо, свидетельствующее гражданские акты и коммерческие сделки.
Ремингтон, ундервуд — системы пишущих машин.
Этнография — народоведение, наука, занимающаяся изучением культуры племен и народов.
Фольклор — народное творчество, в частности, народные сказания, поверья, предания, сказки, пословицы, поговорки, обряды и пр.,— все то, в чем выражается народная мысль.
Мифология, миф — учение о мифах, которые повествуют о богах и героях, древнейших народов.
Вандея — французская провинция, на северо-западе Франции, прославилась контрреволюционными крестьянскими выступлениями в эпоху Великой Французской Революции. Вандея стала синонимом контр-революционных крестьянских восстаний.
Иллюзия — обман чувства, воображения.
Черта оседлости — установленный царским правительством ряд губерний, в которых разрешалось проживать евреям.
Бисеринка (бисер) — зернышко мелких бус.
Башлык (казац.) — суконный колпак с длинными завязывающимися концами.
Авантюра — приключение, похождение, сомнительное предприятие.
Особняк — уединенный дом.
Клиент — постоянный заказчик, покупатель, посетитель адвоката, нотариуса.
Клерк (англ.) — письмоводитель, ученик нотариуса.
Жалюзи — решетчатые раздвижные ставни (оконные).
Лазутчик — шпион, разведчик.
Патронташ — сумка для патронов.
Фураж — припасы для прокормления войсковых лошадей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТ С ФРОНТА.

(Из книги „Горькая кровь“ А. Веселого).

В России революция — вся Россия
на ножах.

Булга.

Станция обвешана эшелонами фронтовиков.

Теплушками, как икрой, замазаны все пути. Редкие классные похожи на чопорных буржуев, окруженных буйной красной гвардией.

Месиво шинелей.

Вокзал в-набой, вагоны в-набой, лазят в окна. По склизкому, залепленному дождем перрону, как вихрем, разметаны лохмотья, рвань, мешки и выглядывающие из-за них бабьи рожи, вспухшие от слез и бессонницы.

С Пятигорья на Чечню спускались казачьи шайки, сбивая по пути красногвардейские шайки. Далекие пушки бабахали в утренней тишине. По еле слышным разрывам фронтовики определяли калибр:

— Трех...

— Трех...

— Горняшка.

— Ого, жаба плюнула.

— Да, по затылку щелкнет, — пожалуй, и на ногах не устоишь.

Шальной снаряд за семафором разбрызгал грязь и панику. Кто закрестился. Кто за мешки, и на-утек.

— Бьют!

— Ссыпайся!

— Ганька, стебай, Ганька!

— Господь, твоя воля.

— Ат, мать иху через дугу!

— Дерутся они с красными да с чеченами, нас не тронут.

— Как же, по головке погладят.

— Делегацию бы на братанье, как на фронте.

— Сымай штаны, ложись спать, они те набратают, вольный свет не взвидишь.

— Чать мы не за большевиков!

— А за кого же вы?

В эшелонах смеялись и плакали гармонии, гремели удалые песни, захлестываемые молодецким посвистом. Рябила чечётка, грапал гопак.

Ладони хлопали, как выстрелы. В почернелых, обожженных стужей и зноем лицах весело блестели зубы и глаза.

Между путями плескались костры. В котелках пучилась мамалыга и чечевица. Закипая с концов краской, жарко пылала обшивка вагонная. Матюки гвоздили горькую и вшивую солдатскую жизнь.

Чернобородый большой солдат уфимской дружины, хрупнув, откусил голову дергавшейся курицы, выплюнул ее в костер и, прислушиваясь к далекому орудийному гулу, сказал:

— Ах, стервецы, дорвались... И чего проклятущим дома не сидится, чего псам надо?

Пыл лизал курицу, наколотую на сизый штык. Обглоданный болезнью, заскорузлый парень зябко кутался в шинелишку

и, жадно втягивая гарь куриных перьев, угодливо соглашался с черной бородой:

— Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак, ей-бо!

— Бежать, одно.

— Бежать, бежать. Тут хорошего не жди... За Караулова они, вишь ты, крепко осерчали, разлюбезный был атаман.

— Да, Караулова мы подкараулили.

— Сила Нуфрич, оторви крылышко, страсть жрать хочется.

В вокзальном садике — три кучки.

В одной — мечут в очко.

В другой убивают начальника станции.

И в третьей — китайченок показывает фокусы:

— Шинд-ла, минд-ла... О мотлия, шалика лука ложиа... Ас! Дуа! Пхо! Пойегла... Куа шалика пойегла?.. Ни сная, сплоси ната...

Перекосив рожицу, грязную, как сапожное голенище, лукаво пошептался со своим деревянным божком...

— А-а! Сная! Маа бох доблы...

Солдаты раскалывались со смеху:

— Ах, бес!

— Заноза мальченок.

— Наш русский давно в куски пошел. Ну, а этот—уйди, вырвусь.

На ходу обсасывая куриную ногу, чернобородый, расталкивая народ, орлом летел добивать начальника станции.

Говорили, будто еще дышит.

В телеграфе делегаты от эшелонов навалились на худобу телеграфиста, паровозы требовали, а сзади в дверь напирали насыпью, вытягивали шеи.

— Тут не мундировку дают?

— Ну! Семка, нашинских покличь.

— Легче, земляк, легче.

— Где мундировку дают?

— В очередь, в очередь, все равны.

— Куды, чорт, лезешь, ногу отдавил!

— Не больно черти! Тебе не старый режим, а то я тебе так черкну, — глаза на затылок выскочут.

— Мундировка?..

— Не... Насчет паровозов.

Очередь, вставшая за мундировкой, бросила дружный залп матюков и рассыпалась.

Припертый к стенке телеграфист бормотал,— ровно спросонья. Как на пружинах прыгали его глаза, а перед глазами — колючие солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие лица и распахнутые рты.

Грудь форменной тужурки цепко когтила лапа вожака:

— Сказывай останный раз, будут паровозы, али нет?

— С мясом выдерем!

— Подай сюда!

Из расхомутавшегося крахмального воротничка вываливалась гусиная шея, посиневшие губы прыгали в бормотливом хрипе:

— Товарищи... Милые... Господи... Я сам за новый режим... Даже боролся, имею соответствующие документы... Паровозы не от меня зависят.

Ударили голоса:

— Глаза нам не отводи.

— Вынь да выложь...

— Все кадетам продались...

— Праздснички да гуляночки.

— Шутки плохие...

— Кажду минуту жизня смертью грозит.

— Чаво с ним собачиться?

— Потрясти надо, тады и паровозы будут.

— Братцы, даю честное благородное слово, братцы...

Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с тужурки.

— Говори, не дашь паровоза?

— Сучья жила...

— Бей телеграмму в Армавир, вызывай телеграммой.

— Аппарат вы сами же разбили, господи!

Надвигались, дышали горячо, злобой коптил солдатский глаз.

— Смерти или живота?

— Должен ты расстараться.

— За что же хлеб мужичий ешь?

— Лукин, чыпыхни его.

— Эх, патриёт, война до победы!

Хлесток кулак Лукина.

Телеграфист затылком об стенку, уклеенную плакатами „заем свободы“. Полыхнул визг, с корнем вывертывался рык, хряскали и бякали удары...

На дальних путях, вокруг платформ, загруженных пушками, бегали кабардинцы в высоких папахах. Щупали прицельные рамки, замки, снимая чехлы, заглядывали в дула.

— Русски, продавай.

— Купи.

— Сколько берешь?

— Сколько убежишь.

— Ва, зачем шутишь?..

Приседая на корточки, в кружок, они совещались, бормоча все разом, и взмахивали рукавами черкесок. Потом заново осматривали орудия.

— Солдат, бушка стреляет?.. Пороха есть?

— Подставляй башку, попробуем.

— У меня один башка, башка жалко. Стреляй пожалуйста туда, на гору. Продавай бушку.

— Купляй.

— Почем?

— Руб фунт.

— Га, зачем смеялся?..

Воинские продовольственные лавки были поразбиты. Вокруг заколоченного досками питательного пункта бродили с аттестатами в руках фронтовики и, горестно ругаясь, шли на базар размахивающими рубашками.

Базар за вокзалом.

Хлеба не было ни на базаре, ни в станице. Жестоко обкрадываемые торговки на базар глаз не казали, а казачья станица, наглухо зачинив ворота и сундуки, отсиживалась в чисто выбеленных хатах.

С утра на солнечном угреве, на пустых хлебных ларях сидели солдаты, вшей били. Ради забавы бросали окурки и сплевывали в корзинки торговцев с семячками. Краснословили, ржали — зубов не покрывали.

Толкались туда и сюда, слушали — как и что.

От нечего делать митинговали.

Одни солдаты говорили:

— Советская власть дорогого стоит, власть без фокусов и без сомнения...

А другие лепили:

— Они, большевики-то, из одного кулака конфетку кажут, а другим по харе мажут.

Курились такие разговоры: хлеба много, хлеб припасен кадетам. Выныривали очевидцы. Крестились на вокзальную часовню, клялись, божились, сучили кулаками, колотили в грудь:

— Разрази меня! С места не сойти. Амбары в-набой. А в амбарах ни одной двери нет. Глаза лопни! Отсохни язык! Мука пшенична, один солдат сказывал.

Слушали, ахали, ухмылялись, отводили глаза в сторону.

— Да что ты?

— Ха, без дверей... Сказанет тоже, корова не перелезет.

— Без дверей? Как же мешки-то накатаны, не святым духом?

— Слабодна вещь, братцы,—взметнулся солдатишка, грязный, как подмазок сковородный,—вот расскажу я вам про такой случай...

На расправу базарного суда приволокли избитого мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой.

За этот день убили человек шесть.

На очумевшего, оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась.

Поголготили, поголготили и решили:

— Петь и плясать ему среди базара до темной ночи.

И какой-то весельчак добавил:

— Ночью опять иди воруй, только не попадайся.

Блеснули глаза, теплые, как талый снег, закипели зубы в крике.

В арсенальном большом замке
Два солдатика сидят,
Оба молоды, красивы,
Про слабоду говорят.

В вокзале митинг.

Солдаты шли на казачий митинг и говорили:

— Какое там собрание? Все равно по нашему будет.

Грязной накипью пенились жеваные шинели. Свет единственной уцелевшей под потолком лампочки едва пробивался сквозь махорочные тучи.

В углах зала было темно, хоть на язык наступи.

Передние сидели, полулежали на мешках, сами похожие на мешки. Задние тесно кучились плечо в плечо, локоть в локоть, торопливо, ровно на-подряд, грызли семечки.

На буфете оратор.

Щурились близорукие глаза, он качался на тонких и длинных ногах, затянутых в обмотки.

— Товарищи и граждане! Тридцать тысяч русских солдат персидского фронта избрали меня на ответственный пост члена армейского комитета. Товарищи и граждане, преступный и позорный Брестский мир толкает родину в пучину позора...

Голос давно выкричал.

Слышали его только передние, задние догадывались о словах по маханию руками. Многие пришли в вокзал погреться или выспаться на мешках.

Сидели, лежали, мирно беседовали, вертели махру, краснословили.

— Теплынь.

— Время.

— Лепень делу не помеха, Харламп Логиныч... Оно, солнышко-то, ведрышко, как грянет, как заревет,—в неделю все сгонит.

— У нас теперь овсы сеют.

— Ну?

— Верно слово.

— Хоть бы к святой воротиться, и то благодать.

— Где?.. Этакое кругом идет смертоубийство.

И тут же, шагая через валявшихся по полу, звенел мальчишечий голос:

— Эх, вот махорка-корешки, прочищает кишки, кровь разбивает, на любовь позывает... Давай, налетай, полтинник чашка.

Молчаливые солдаты угрюмыми волчьими глазами щупали фигуру оратора, глядели на торчащие из коротких рукавов тонкие белые руки, на жидкие ноги и решали: „приспешник буржуазии, стерва саботажная“...

Тут появилась первая большевистская ласточка в матросском костюме.

Порывисто взмахнул рукавами, распахнулась шинель, натянутая на голое тело.

Понесся шопот:

— Матрос, матрос...

Матрос махнул кулаком под мигающим лицом голенастого.

— Расчухали, братцы, куда он гнет? И чего воображает... Не глядите, что он в шинели одетый, под ней змеиное нутро.

Смех, одобрительные голоса.

— Правильно. Надо разобраться.

— Харя у него больно бела да чиста.

— Може из офицеров?

— То же и Керенский болтал.

Хозяин белой хари выпрямился, задребезжал обиженно:

— Гражданин, вы не имеете права... Керенский — сын русской революции.

— Сукин сын,—подсказал кто-то.

Заржали.

Бесцеремонно отсунутый в сторону, оратор покорно слез с буфета и, повалившись на пол, сейчас же заснул.

На буфете матрос.

Растерянная и горькая улыбка расколола его волосатую рожу от уха до уха. Лихим ударом взбил на затылок бескозырку.

Заговорил с надрывом полный голос, чтобы всем слышно было:

— Фронтовики, кровь родная! Я сам фронтовик с Черной горки, с Двинских позиций... Братики, этот гнилой хрукт в овечьей шкуре брехал: заслужили, мол, вы славу, доблесть...

Рванули голоса:

— Заслужила собака удавку.

— Вшей полный гашник.

— Верно.

— Эх!..

— Просим!

— Без гвалту! Дайте оратору высказаться...

— Тише...

— Просим!

Гамеж стихал, как прибой угасающего дождя.

Матрос деловито подтягивал спадающие штаны, звякали за горбом котелок с кружкой.

— Загоняй в могилу акул буржуазного классу... Товарищи, молодую слободу надо поддерживать согласно декретов народных комиссаров.

В высаженное окно кто-то с захлебом крикнул:

— Вылетай, брашка, базар рвут, ух!

Взметнулись мешки, спины как бурей подняло. Затрещали окна, двери, звякнули котелки и фляги.

Напрасно матрос махал руками и что-то кричал,— общий рев заглушил его.

Погром загремел с пустого:

— Почем селедка?

— Полтора.

— Заверни парочку для петита.

— Извольте.

Селедки нырнули в широкий рукав.

— Служивый, а деньги?

— Чо?

— Деньги.

— Ошалела, ужиная башка... Заплачены денежки, аль другие хочешь согнуть?

Крики, хохот.

— Подавай денежки, разбойник!

Тому обидно показалось. Развертывается, цоп бабу по уху. Кувыркнулась баба в снег, завизжала на всю губернию.

Скрипнул зуб, рявкнула глотка солдатская, широкая, как рукав пожарный.

Кинулись, как по команде, в драку-собаку.

Рев, рык, визг... Треск разбиваемых прилавков.

Товару раскупили в два счета: колбаска, конфеточки, табачок.

— По малу досталось, а кровушки за три года полили эва сколько, горького хлебнули досыта — конфеткой тут не заешь.

Поминтиговали, поминтиговали и, прожевывая колбасу, шайками потекли в станицу.

— Должен быть хлеб.

— Деться ему некуда, не вихрем подняло, в сам-деле.

— Вишь, выдумали русского человека голодом морить.

— Врут, не спрячут, солдат найдет.

Искрами летели и гасли предостерегающие голоса.

— Товарищи, бей да оглядывайся — не вышло бы тут какого рикашету.

Вопросы — задачи: *1. В лаборатории выпишите из приведенного рассказа неизвестные вам слова и подыщите к ним значение. 2. Возьмите отрывок и разберите его синтаксически. 3. Охарактеризуйте язык Веселого. 4. Расскажите о настроении солдат, возвращавшихся с фронта империалистической войны, об их отношении к сторонникам временного правительства, учредительного собрания и к ораторам — большевикам.*

„ВСЕВЕСЕЛОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ“.

(Из „Перемены“ М. Шагинян).

Приказ гарнизону Новочеркасска за номером восьмидесятым от третьего сентября, параграф второй.

„Из донесений коменданта усматриваю, что из числа офицеров, задерживаемых в городе в нетрезвом виде, большинство приходится на долю находящихся на излечении в лазаретах. Больные офицеры в лазаретах пользуются неограниченными отпусками во всякое время. Приказываю прекратить это безобразие, а кого поймают в нетрезвом виде,—на фронт.

Начальник гарнизона Новочеркасска
Генерал-майор Родионов“.

Что за странности в нашем городе Новочеркасске? Город чистенький, черепичный. Смеются бульварчики, палисадники, ярко вычищенные главки собора. Столица Великого Войска Донского,—магазины полны, в гимназиях учатся, лихо гарцуют казаки перед дворцом атамана. А на стенах, что ни день налепляют победоносную оперативную сводку.

И все-таки,—что за странности в нашем городе Новочеркасске? Словно бой происходил не на полях, а на улицах, что ни день приводят больных офицеров в больницы с отпускными листами. Больницы особенные,—веселые, беленькие, сестрицы в них, словно цветы на окошке, день-деньской сидят на подоконниках в белых халатиках, загофрированные, улыбающиеся, с глазами в глубоких синих кругах, как у фиалок над черными чашечками,—должно быть от тяжкой работы. И губки припухли у сестриц, словно покусаны комарами. На улицах непочтительны к бедным сестрицам прохожие, так и сторонятся, как от паршивой собаки. И говорят, будто беленькая наколочка, красный крест на руке и пышная пелеринка над грудью стали модной одеждой: по вечерам, когда над кино-театром завертится колесо электрических лампочек, появляются в этих наколках и пелеринках разные странные женщины, привлеченные модой.

— Видно, в моде у нас милосердие,—говорят граждане.

А странности в городе Новочеркасске такие: привезут, значит, офицеров в палату, где сестрицы и медицинский персонал, в числе по военному увеличенном, их встретят, зарегистрируют и положат на койку. А он глядь-поглядь уж

вскочил, ногу в галифэ или бридж, похожий на юбку и занесенный нам англичанами, да и был таков. Ищи, лови его.

В Новочеркасске много улиц и много на улицах разных дверей, где за каждой можно найти биллиардную, ресторан и кофейню. Офицер, как пришел, сел и требует:

— Эй, подать мне того-сего! Поворачивайся, я тебя!

И подают половые, шуршащие, как тараканы подошвами по обшарканным комнатам, все, что нужно.

Офицер выпил раз и другой, он куражится, у офицера компания: всем известно, что доблестные защитники чести казачества от заразы большевиков и от жидо-масонов спасают Россию. Пей, герой, заглушая видение пьяной смерти в пустынных лагунах затопленной памяти: нет там ни бога, ни чорта, ни завтра и ни вчера, а только сегодня! Зуд в зубах от вина, от табаку, от дурного желудка, от чьих-то покусанных комарами и на-лету взятых в плен липких губок. Зуд на теле, под чесучевым бельем. Гуляй, герой, пока не свалишься. защищая честь родины в сифилисе под забором.

Однако, открыты двери биллиардных и ресторанов не одним офицерам. Много есть именитых граждан с деньгами в кармане. Входит в двери сам Истуканов, купец первой гильдии, богатейший мужчина. Он ведет с собой дамочку, не жену, а другую. Дамочка прыскает, как из пульверизатора, глазками направо, налево; ножки идут, заносясь одна на другую, словно все дело дамской походки шагнуть правой на левое место, а левой направо. Переплетаются ножки, регулируемые всем телом и той дамской частью, что соответствует хвосту канарейки. Легкое зрелище, головоломное.

Сели напротив военной компании. Слово за слово. Дамский клювик в рюмочку деликатно, по-птичьи. Истуканов же тянет, как подобает мужчине. Разгорячились, перемигиваются, офицер в компании тост произносит. Что-то кому-то как-будто бы показалось (так потом вычитали в протоколе, не больше) —

— Бац!—стреляет герой, защитник отечества.

Икнул Истуканов от страха. Полетели стаканы. Сдернута скатерть.

— Мерзавец—авва-ва, я защитник!

— Прохвост тыловой!

— Бац!

Ранили Истуканову ногу повыше колена. Нехорошее происшествие для хозяина биллиардной. Офицер и компания

в комендатуре, власти заняты протоколом. И писарь, чей почерк похож на брызги из-под таратайки, инвалид германской войны, человек горячего духа, в сотый раз повторяет помощнику коменданта:

— Хушь бы выработали вы печатную форму на машинке, а не то, ведь, руку собьешь, отписывая одинакие вещи.

А странности города Новочеркасска перебросились в самый Ростов. Стыдно сказать, угрожают они городскому трамваю.

Кому мешает трамвай? Он холит по рельсам. На углах останавливается, совершая пищеварение: выпустит лишнюю публику с верхней площадки и снова наполнит утробу публикой с задней площадки. Дело простое, ясное. Так вот нет же! Вскакивает офицер вопреки положенью через переднюю, прыгает с задней, разворачивая трамваю утробу.

Этого мало. Едут в трамвае по собственной надобности рядовые казаки. Помнят они, если возрастом молоды, революцию и разные вольности; а старики, поместясь на скамейке, с седыми бровями, нависшими, как карнизы над окнами, вспоминают походы. И офицер, входя, рукою в перчатке тронул фуражку. Не ответил казак, зажмурены у старика под седыми бровями глаза, подремывает. Офицер толк в плечо старика:

— Во фронт! Как смел, ррзавец! В комендатуру за неотдание чести!

Разбуженный обозлился: молод больно кричать на седого, молоко не обсохло. Так вот нет же, не отдам тебе чести, да и все. Притулился казак, будто снова заснул.

Офицер останавливает трамвай. Офицер в возбужденьи требует ареста казака, то-и-дело выхватывая из кобуры нарядный револьвер. У офицера дергаются посинелые щеки: мы жизнь отдаем, а тут в тылу расползается злая зараза, большевизм на каждом углу, в каждом солдате. Дерзкие, неучтивые, непослушные, из-за угла предадут, подведут, чуть только дай им возможность, в спину нож всадят,— обезвреживайте их, ищите, уничтожайте!

Дергается офицер от давящей душу обиды. Ходят на нем галифэ или бридж, занесенный из Англии, прыгают губы от крика. Пожалейте его, дошел человек до крайней минуты. Нет у него в душе ни бога, ни чорта, ни завтра и ни вчера, укорачивается его сегодня, жалок он, загнанный в пустоту.— и не на чем отдохнуть душе от судорожной краткосрочности.

Всевеликое Войско обеспокоено истерикой офицеров. Есть у Войска свой соловей, сладкий Краснов, атаман. И Краснов увещает в газете:

„Отдание воинской чести есть акт вежливости. Дети мои, сыновья тихого Дона! Отдавайте честь молодые старым и старые молодым. За последнее время участились случаи, когда офицеры в грубой форме наскакивают на старых казаков. Не годится это, не хорошо, не в духе слова Христова. Помните, все мы братья. А если тебе не отдали, ты возьми да и сам отдай!"

Так учил Краснов, сладкогласый, красно говорящий. Читали его приказы в Ростове и Новочеркасске, хваля за литературную форму. И обыватели, наглядевшись на новый порядок, покачивали головами, пустив крылатое слово:

— Какое там Всевеликое?

Всевеселое Войско Донское!

Примечание: Настоящий отрывок дает картину тыла быв. всевеликого войска донского, в частности, гор. Новочеркасска и Ростова в эпоху атамана ген. Краснова с мая 1918 года по февраль 1919 г., когда Красная армия из Донской области, под нажимом немцев и белых казаков и из Кубани — Добровольческой армии, отступила и занимала фронт по линии Астрахань, Царицын и южные окраины Саратовской и Воронежской губерний.

В Донской же области в это время правительство вело бесконечные дискуссии, что лучше, союзники или немцы, „единая неделимая" или самостоятельное всевеликое войско донское. А офицерство, засевши по тыловым учреждениям, пьянствовало, громило и дебоширило под вывеской защитников родины.

СЛОВАРИК.

Гофрировка, загофрированный — мелкая плойка белья, женского платья.
Бридж — брюки особого английского покроя.
Пульверизатор — прибор для распыления воздуха.

ФЕДОР ГЛАДКОВ.

Я родился в 1883 году в селе Черновке Саратовской губ., в семье крестьянина.

Отец рано ушел из деревни и стал заводским рабочим.

Сначала я учился в сельской начальной школе, затем в городе в городском училище. Первые шаги в науке — сказки, сказания и песни бабушки-крепостной и матери.

Большое влияние оказала на развитие любви к литературе учительница сельской школы М. Г. Парменикова. Дальнейшая наука — в трущобах екатеринодарской „хитровки". Впервые

там узнал о марксизме и классовой борьбе, о таких писателях, как Достоевский.

Был мальчиком в магазинах, учеником в литографии и типографии.

Бежал отовсюду и добился поступления в школу. Много читал. Имя Горького, которое тогда (1901 год) прозвучало громоподобно, впервые опьянило меня.

Пережитые испытания, неприглядная рабочая жизнь, страдания еще и раньше толкали меня к жалобам на бумаге, а волшебное имя Горького вызвало великую жажду творчества.

Больше всего с ранних лет и до сих пор люблю Лермонтова, Льва Толстого, Достоевского и Горького. Считаю их моими учителями.

Их углубленные темы, огромные проблемы, художественная завершенность образа до сих пор поражают меня. В их произведениях меня привлекает и волнует социальная и психологическая сторона.

Впервые я начал писать со стихов, в которых было больше жалоб на безрадостную жизнь и мечты о весне и солнце, чем веры и бодрости.

Далее, под влиянием Горького перешел на беллетристику из рабочей жизни и жизни люмпен-пролетариата.

Первый рассказ напечатал в газете в 1901 году („К свету"). В том же году — „Максюта" (о босяке) в той же газете — „Кубанские Областные Ведомости". Потом еще ряд рассказов и очерков. Продолжал работу (беллетристика) в газете „Забайкалье", — ряд очерков и рассказов о каторге и каторжниках. Прежде, чем напечататься в первый раз, испортил довольно много бумаги, что при тогдашнем рабочем бюджете стоило не мало жертв.

Единственная моя цель — типически, глубоко и широко отобразить нашу эпоху, с ее борьбой, строительством, устремлением в будущее.

Считаю, что эту задачу выполню в большей или меньшей мере. Если художественное и служебное значение моего творчества для нашего общества будет признано несомненным, — для меня это будет высшим удовлетворением.

Задача. *Взяв исходным пунктом автобиографию Ф. Гладкова, прочитав доступные вам произведения его, напишите подробную биографию-характеристику Ф. Гладкова и его творчества.*

„ПОДСОЛНЕЧНИКИ“.

(Из книги „Огненный конь“ Федора Гладкова).

Власть советская пришла в станицу просто и незаметно.

Было это в бездельные дни масленицы. Небо по-весеннему дымилось медуницей. Рядами по одному плыли и переваливались снежными глыбами облака, водянистые и тающие в краях. То пыхало в их разрывах солнце, то барахталось в туманных сугробах. По земле и хатам летели огненные и пепельные цветы. Мальчишки догоняли их босиком, смеялись, кричали и хватали руками. Грязь подсохла, и по площади, и по дорогам, и около заборов блестели студнем проторенные дорожки. И было все такое молодое, яркое и родное до слез. Хмельно лопались почки, золотилась трава по краям дорог, и воздух переливался радугой и девичьими криками невидимых птиц.

Ночью нагрянул броневик на вокзал. Дрогаля видели на станции, как Гмыря вместе с Глушковым лазили в вагон, долго там пропадали, а потом вышли опять, и с ними был человек в кожаной куртке и картузе, похожий на скопца, и матрос в бескозырке с лентами и с открытой грудью.

А утром в станицу вошел отряд солдат и остановился около станичного правления. Завыл набатный звон. Выл недолго, но настойчиво и строго. И навстречу звону, через огненные и пепельные пятна, изо всех улиц торопились и перегоняли друг друга городовики и городовички, казаки и казачки.

Казаки — в городовицкой одежде — не в черкесках — шли стадом, и по их лицам было видно, что они нарочно сбивались в шайки: что-то неразгаданное и затаенное было в их пыльных глазах. Городовики бежали вразброд, размашисто, угарно и крикливо.

Все ждали большевиков и знали, что это пришли они, а откуда — неизвестно.

Сбор станичный, казачий, давно уже не собирался — срывали солдаты и молодые казаки-фронтовики. Старый атаман подал в отставку и уехал к себе на хутор. Выбрали другого — фронтовика. Он ничего не понимал, конфузился, потел. Взял себе помощника, без выборов, городовика-солдата, с которым ездил по богачам и зачем-то описывал их имущество.

Ворота отворили, и люди хлынули во двор правления. Большой двор, мощеный,— человек на тысячу будет. А у стены была широкая терраса с барьером фокусной резьбы. За столом, у перил, сидели двое товарищей с броневика: один в кожаной куртке и картузе, похожий на скопца, другой — матрос с толстыми губами и широкими челюстями. Рядом с ним сидел атаман и конфузился. За ними — солдаты с винтовками в руках, застывшие, немые, зоркие и отчаянные.

За солдатами дружной артелью грудилась станичная солдатня с Гмырей в головке, городовицкая и казацкая молодежь, Глушков с рабочими и Андрей Гузий.

И тот, кто смотрел на Гмырю, видел, что иной он стал, не такой, как вчера, а какой был до войны — открытый, понятный, с неудержимой улыбкой радости на лице. Это когда он смотрел на товарищей с броневика, а когда он охватывал взглядом толпу и встречал охмелевшие от солнца лица мужиков и баб, смех драл щеки, и неудержимая сила будоражила его кровь. Не стоял спокойно, все порывался: вот-вот бросится к перилам, замахает руками, захохочет, загорланит что-нибудь нелепо-бурное, оглушительное.

Народу была тьма — тысячи: сидели даже на заборах, на крышах сараев, на тополях у конюшен. А люди еще текли в ворота и тонули в толпежной гуще. Солнце и цветы на небе, солнце и цветы в толпе — живая кипящая пена нарядов и смеха. Ждали, напирали на террасу, душили друг друга, кричали от боли, смеялись, утробной мощью взрывались гулом и недрами жизни своей уходили в землю. И казалось, что дрожала смехом и болью земля. Горели на солнце наряды, лица подсолнечниками глядели на облака и пыхали на солнце.

Хороший был день — молодой, весенний.

Встал атаман и заулюлюкал колокольчиком. Земными недрами задрожала и запела толпа.

— А ну, граждане — собрание, до слуху... Выскажет вам товарищ о новой нашей власти... кому какая доля... и радость до труда... Слушайте, граждане...

И сел, и все улыбался конфузливо.

Встал товарищ с броневика — в кожаной тужурке, посмотрел на солнце и засмеялся. Но суровый был смех, железный.

— Ну, и солнце... вот солнце, как пасхальная печка... Гляжу вот на него и вижу: баба в обнове... радо, что наше стало... Эх, земнородные...

По толпе брызнул смех и веселье. Не смешно, а смеется — масленица.

— Ну-ка, кто, рабочая, трудовая беднота, кто хочет вольной доли, своего трудового царства советского?.. Вы, вольное казачество, вы, бедалаги, неимущие мужики, рабочие черного труда и всякого ремесла люди — все люди страдной, трудной жизни! Хотите ли своей власти и судьбы, и земли, и труда своего быть хозяевами?.. Кто хочет такой доли — руки к солнцу, руки до горы...

Охнула и сотряслась утробой своей толпа, и брызгами взметнулись руки вверх над головами. И головы скрылись под палочьем рук. Большая рубель прошлась по скалке — задрожала земля и площадка с резными перилами.

— Ой, да и куркули со свома руками?..

— Наша земля!.. Казаки до совету!..

— Гони атамана... Нет больше куркульского атамана!..

— Советская власть — от крови...

— До нас — броновицкая власть!.. Аминь бородачам толстопузым...

Смеялись товарищи с броневика и поглядывали друг на друга. Видели, что и кулаки казацкие и городовицкие тянули кверху свои растопырки. Чудо: не толкали их под бока, не трясли за бороды, но руки их дрожали над головами, и глаза лопались от злобы.

— Эй, слышь-ка, товарищ, ты те, которые руки видишь не зри... Руке, милый не верь... в руке совести нет, истинный бог!.. Рука — что жулик: ворует и богу молится... А то вон лавочник Рябокур тоже рукой чертит... истинно, с бедняцким классом... А пан Гузий ручкой дырочку в воздухе шилит... Ну, тот хоть и панского отродья, а вояка...

Махнул атаман папахой, и все руки шоркнули в пучину толпы, остались только одни головы подсолнечниками.

Передние ряды буторил старик Шептухов, щерил гнилые клыки и хватал воздух кривыми руками.

— Большак я, аль нет?.. Трудящая я лимента, аль нет?..

— Тю, старая корга... Ты — слово, которое от стола, а не которое самому...

— Коли старый на слово передом, я не хочу своей казацкой правды до заду... Я хочу высказать, отаман...

— А я-ж был в вони и боли... Хочу сказать человеком...

Опять большая рубель задрожала по скалке.

Подошел к столу Гмыря и стал около человека в кожаной куртке. Вместе с ним Гмыря, вместе с жутким человеком — с комиссаром бронепоезда Глобой.

Взглянул он на Гмырю стальными глазами без зрачков и сказал:

— Я не буду говорить, а ты, земнородный, скажи командой... Не мусоль и не жми сусла... Ревком. Из троих: солдат, казак и рабочий... Верных до живота... Проворонишь, обманешь — расстреляю. Вникай...

— Товарищ Глоба, не учи... учили — мучили... Думано — передумано, кровей пролито...

— Бубни, земнородный... Чую... Бери на зуб...

Поднял руку Гмыря и махнул перед бунтами гавкающих подсолнечников. Впереди — солдаты и фронтовики, своя братва. Шапки тычут кулаками на затылки, зубы дружески скалят Гмыре.

— Крой, Никиш... Давай его до власти...

— Хулиганов бей... Все добро нажитое вывернуть требухой... подушат шайкой... порежут босявкой...

— Давай Гмырю!.. Наш Гмыря, бедняцкий...

— Солдатский Гмыря... Брат!.. Вояка!..

— Граждане, смирно!.. Объявляю от большевиков и революции... Избираем Ревком... Не дурацким гамом голосуй, а утробой и рукой... Вот каковые комиссары будут... Гузий — вояка... храбрый казак, военный комиссар на славу...

— Давай... Пан, да лихом дран...

— Не надо!.. Гони!.. От генералов...

— Гузия!.. Вояку!..

— Туба!.. А от солдатского люда — меня, Гмырю .. из окоп...

— Урра!.. Гмыря!.. Брат!.. Крой!..

— Туба!.. От рабочего люда — Глушкова... огневого и копотного..., который от паровозов... Кто — за нас, руки от нутра, а нет — закрой харю папахой... Выше!..

Шоркнули палочьем руки над головами. Много — не счесть.

— Есть. Ревком!.. До смерти за советскую власть!..

Марина глядела на Гмырю круглыми девчатьими глазами. Ручейком переливался в них загадочный огонек насмешки, угрозы и ласки.

Глоба ударил рукой о барьер. Стихло.

— Земнородные! Ваш Ревком и я, это — одно... Стальные вагоны и ваша воля... Измена трудовой власти... бунт кулаков

и панов... беспощадная кара... Вникай... Я и вы... Сталь вагонов и ваша сила... Много не говорю, а делаю... Кто предревком? Он... солдат и бедняк Гмыря.

Хлопнул по плечу Гмыри, и рука его была тяжела и жутка, как бомба.

— Урра!.. Гмыря!.. Вояка!..

— Выходи к народу, Ревком!..

— Браво, хлопцы!.. Дрочи три кулака генералам, а режь одним махом!..

— Да большаки мы, аль нет?.. трудящие мы, аль нет?.. Братики вы мои!..

— Туба! Вот я — предревком, граждане... Запомните мои крепкие речи: доколь кровь в моих жилах и сила моя дрожит в сердце, и доколь глаза мои видят по ночам, — не взять у нас, из этих вот рук, никакой подлой силе трудовицкой державы... Мы знаем муки и смерть, товарищи-фронтовики, казаки молодые, и мы не боимся ни смерти, ни страху... То бородачи присосались к своим гнездам и бородами обсалили свои чекмени... Не к ним мое братское слово, а к вам, окопники и беднота, и к вам, вольные бабы...

И опять задрожала земля и воздух от гула и вихря.

— А товарищу Глобе — вот моя рука и жизнь...

Сунул свою лапу Глобе, а тот потянул ее к толпе и стукнул о перила.

— Ура, Ревкому!.. ура, воякам!..

Марина смотрела на Гмырю гремучими глазами. Будто кошка, будто змея, будто ребенок.

Подсолнечники — вихрь ревущих пламенных подсолнечников.

Не видали музыкантов — своих, станичных —, а они заиграли. Неизвестно, что и как игралось. И барабан бил изо всех сил: бух, бух.

Подошел Гмыря к Андрею. Он молчал и смотрел на него такими же глазами, как Марина. Только свое было, затаенное и твердое. И усы шевелились от улыбки.

Вопросы - задачи. *1. Обрисуйте по этому отрывку отношение иногородних и казаков к большевикам. 2. Природа и переживания участников митинга (сравните и сделайте выводы о приемах автора). 3. Выпишите оригинальные метафоры, эпитеты, сравнения. 4. Попытайтесь дать характеристику языка Ф. Гладкова по этому отрывку.*

СЛОВАРИК.

Медуница — пчела, иногда в значении только рабочей пчелы; растение.

Броневик — автомобиль или поезд, стенки которого защищены от вражеского обстрела стальной броней.

Набатный, набат — звон в колокол, барабан и др. по случаю какой-либо общей опасности.

Шайка — сборище, банда воров, разбойников.

Терраса — плоское возвышенное место, площадка у дома.

Рубель — рубчатый валек для катки белья.

Буторить — мутить, будоражить.

Щерить — щерить зубы—скалить; щерить шерсть—топорщить, вздымать от злости, испуга.

Мусолить — слюнить, пачкать слюной.

Сусло — сладковатый навар на воде и солоде, в переносном смысле — вялый человек.

Босявка — оборванка, оборванец.

Туба — повидимому, как восклицание в значении „кончено", „крышка", „готово", „дело".

Чекмень — крестьянский, казачий кафтан.

СЕРАФИМОВИЧ О СЕБЕ.

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ.

— Я родился 7 января 1863 г., в Донской области, в станице Нижне-Курмоярской. Отец и мать — донские казаки. Детство провел в Польше, где отец был с полком, потом жил на Дону.

В глухой, заброшенной станице Усть-Медведицкой учился в гимназии. Черносотенные, непроходимо грубые учителя старательно воспитывали в учениках неугасимую ненависть к школе и ко всему, что с нею связано,—постепенно и к политическому строю, который ее породил.

Чернышевский, Добролюбов, особенно Писарев жадно читались в истертых клочках, под страхом немедленного исключения из гимназии.

Громадное влияние на развитие, на расширение кругозора оказала художественная литература (Толстой, Тургенев, Помяловский и др.).

До 3-го класса гимназии я был исступленно религиозным.

Но к четвертому классу церковь стала для меня капищем, а попы — жрецами и мошенниками.

В гимназии у нас училось много детей трудовых казаков. Создавалась постоянная связь с трудовой казачьей массой.

В 1883 году поступил в Петроградский университет, на физико-математический факультет. В студенческих кружках читал Карла Маркса, изучал политическую экономию.

ССЫЛКА.

На 4-м курсе был арестован за то, что написал воззвание. Был выслан в Архангельскую губернию.

Пара голубых жандармов привезли меня в небольшой городок Мезень.

В Мезени я встретил ссыльно-политических, которые жили небольшой коммуной.

Их было трое. Среди них: один студент Московской Петровско-Разумовской с.-х. академии, один петроградский студент и известный революционный работник, ткач Петр Анисимович Моисеенко.

Это был живой энергичный человек. Еще до моего приезда Моисеенко сорганизовал столярную мастерскую.

Жить было тяжело. Нас всячески старались отгородить от местного населения и, в особенности, от крестьян; крестьяне ходили к нам украдкой.

Чтобы не очень отпугивать их своей безрелигиозностью, Моисеенко в темном переднем углу повесил небольшой красный рубанок.

Бывало, придут крестьяне, посмотрят в уголок — там что-то висит, — в темноте-то и не разберут, и вот молятся, молятся в угол...

НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ДОРОГУ.

Эти встречи с мужиками дали мне первый материал для моего литературного опыта. Писал больше года.

Жил я в мезонине. Бывало, запрусь там и пишу. Товарищи посмеивались: „Что это ты там, колдуешь, что ли?“

И вот, наконец, мой первый литературный опыт был окончен.

Однажды утром я прочитал мою работу товарищам.

Все они были очень изумлены моей писательской прытью. Поздравляли.

Рассказ этот, под заглавием „На льдине“, я послал в петроградский журнал „Северный Вестник“, редактором художественной части которого был Плещеев. Я очень просил поскорее напечатать рассказ, так как мне надо было помочь матери, жившей на Дону.

„Северный Вестник“ ответил мне, что рассказ он принимает, но может напечатать его только осенью, а это было

весной. Редакция предложила передать рассказ или в гайдебуровскую „Неделю“, или в „Русские Ведомости“.

Я предпочел „Русские Ведомости“, как более распространенное издание, где рассказ и появился в 1888 году.

Когда к нам пришел номер „Русских Ведомостей“, с моим рассказом, это было шумным ликованием для всей коммуны.

В Мезени я прожил три года, затем меня перевели в Донскую область под надзор полиции. В 1905 г. на Дону дал ряд листовок. Отдельные рассказы в изданиях „Донской Речи“, разных земств и сборников „Знание“ пошли в массы.

Каково было отношение редакции? Хотя мои вещи и брали, но делали, так сказать, „кислое лицо“, ибо после 1905 г. толстые журналы, удовлетворяя особые запросы своих буржуазных читателей, печатали преимущественно Сологуба, Арцыбашева и др.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ.

В 1917 году работал в советской и партийной прессе. Писал листовки, воззвания по заданиям Московского Совета и МК РКП.

За это был изгнан из общества писателей „Среда“ и из „Издательства писателей в Москве“.

Отмечу, что из сборника „Слово“ этого издательства вырезали и выкинули помещенный там мой рассказ. В буржуазной печати была поднята против меня жестокая травля.

В мае 1918 года вступил в РКП.

В 1919 году написал пьесу „Марианна“. Пьеса подверглась дикой травле театрального мира и всех, кто явно или тайно тянулся к буржуазному миру. Только рабочие и красноармейские театры с удовольствием ставили эту пьесу.

Во время гражданской войны был на фронтах: восточном, польском и врангелевском и давал оттуда корреспонденции в «Правду». Кроме того, дал серию рассказов для борьбы с попами и религией.

ТВОРЧЕСТВО И МАССЫ.

Я считаю, что наиболее характерные черты моей писательской физиономии ярко отобразились в моей крупной вещи — „Город в степи“.

Только что вышедший сейчас из печати мой новый труд — „Железный поток“ — дает сумму моего писательского опыта.

Я задумал большую литературную работу, в которой „Железный поток“ явится только частью.

Всю работу я называю общим заглавием: „Борьба“.

В следующих частях я опишу рабочее и революционное движение, дав картины нынешнего строительства, для чего сейчас тщательно собираю материал и частями уже обрабатываю его.

О своей связи с читателем я могу сказать, что до революции мои читатели для меня были почти незнакомы, и только после революции объявился мой родной читатель — из широких пролетарских масс.

Встречи и разговоры показали мне, что масса читает и знает меня уже давно. Но прежде нам нельзя было узнать друг друга.

Теперь я сблизился с ним, и это дает возможность сделать нужные выводы и поправки в моей литературной работе.

***Задача.** По образцу прочитанной автобиографии напишите свою, вспомните для этого выдающиеся моменты своего детства и юности, писателей и их книги, на вас повлиявшие, и главнейшие моменты революционной борьбы, свидетелем коей вы были.*

СЛОВАРИК.

Капище — идолище, языческий храм.
Плещеев — русский поэт 2-й полов. XIX века.
«Неделя» Гайдебурова — журнал интеллигенции 80-х годов XIX в., прославлявший культурное значение „малых дел“, скромных подвигов.
Серия — ряд, порядок, отдел.
Чернышевский, Добролюбов, Писарев — известные русские критики и „властители дум“ 2-й пол. XIX в., особенно, Писарев и Чернышевский.
Толстой Л. Н., Тургенев и Помяловский — русские писатели-художники 2-й пол. XIX в.; из них выделяются исключительным влиянием как на нашу русскую, так и западно-европейскую литературу — Толстой Л. Н. и Тургенев.

ВЕШНЕВ.

О „ЖЕЛЕЗНОМ ПОТОКЕ“ А. СЕРАФИМОВИЧА.

А. Серафимович стоит особняком в современной литературе. Он принадлежит к старым мастерам,— и это звучит не как пренебрежение и не как осуждение, а как достоинство и заслуга. Он ведет свою творческую геральдику от могучей кучки русской литературы. Полученная от нее благороднейшая художественная наследственность, прежде всего, сказывается в самом подходе к нашей величественной и неповторимой современности.

Темой для своей повести А. Серафимович взял изображение одного из потоков партизанского разлива, происшедшего на Кубани. Но этот один из многочисленных потоков он взял в обобщенной законченности, он как бы символизировал самый смысл всей гражданской эпопеи. Однако, символизируя, он не умалил и не упустил ни одного конкретного штриха, характеризующего своеобразие кубанской партизанщины.

Кубанские казаки — это давние пришельцы, изгнанные „Катькой“ из Запорожской Сечи за постоянные восстания. А потом к ним потянулась, гонимая нуждой, с Харьковской губернии, с Полтавской, Екатеринославской, Киевщины голь и беднота со скарбом, с детьми и расселась по станицам, вызвав ненависть казаков. Эту ненависть и конкуренцию между „иногородними“ и казаками поддерживали царские агенты, ею же пользовались царские генералы в гражданскую войну, перетянув на свою сторону не только казачьих кулаков, но и бедняков.

Казаки, уйдя к Деникину, делали набеги от времени до времени на собственные станицы, где остались одни „иногородние“. Но вот „иногородние“ снялись с места, составили большой партизанский отряд и двинулись по направлению к Новороссийску на соединение с главными большевистскими силами, которые где-то, впереди, по слухам, действовали против Деникина и его казаков.

Эта поэма кубанских дней — большая повесть в 10 печатных листов — начинается с описания этой своеобразной партизанской орды, двинувшейся к большевикам искать защиты.

В степи, на митинге, избирают вождем Кожуха. Он должен повести свой тысячный отряд, плохо вооруженный, с ограниченными запасами продовольствия, обремененный стариками, женщинами и детьми, среди почти непреодолимых препятствий: с одной стороны — море, с другой — горы, сзади — напирают казаки, впереди — казаки, грузины и неизвестность. Но остановиться нельзя: казаки все равно перебьют всех до одного, вплоть до женщин и детей. Остается только одно — прорваться во что бы то ни стало. Не была ли в таком же положении вся Советская Россия, обставленная со всех сторон врагами и чудовищными препятствиями?

И вот они идут почти безостановочно, день и ночь. В этом непрерывном движении партизанской массы — фабула повести. Перед автором громадные трудности. В сущности, фабулы в настоящем формальном смысле слова нет, ибо нет героев, нет

интриги, нет того рассказочного повествования, где определенное количество фигур переплетено сложностью взаимоотношений.

Правда, героем является Кожух. Но он — единственный герой и дан нарочито смутно. Он только символ, — сгусток коллективной воли, ее барометр и регулятор. Повесть — „безгеройна". Но ее безгеройность так же героична, как и в повести А. Малышкина „Падение Даира". Однако, один героизм недостаточен, чтобы движение безликой массы на протяжении десяти печатных листов не показалось бы однообразным, тягучим и скучным. Из этого затруднения А. Малышкин почти едва вышел с честью, перенеся центр тяжести в языковую напряженность, в стилевую изобретательность, в разнообразную и пышную роскошь образов и эпитетов. И все-таки большого пространства не выдержал: повесть вылилась в краткий, бессодержательный гимн перекопскому подвигу.

Как же вышел из художественного затруднения А. Серафимович? Его художественный подход дал возможность погнать читательское внимание через все страницы обширной повести столь же стремительно и безостановочно, как было стремительно и безостановочно движение партизанской массы по черноморскому узкому шоссе между морем, горами и казаками. Он, во-первых, нанизал на линию движения захватывающие эпизоды, и, во-вторых, дал многогранное выявление коллективной психологии восставшего народа.

Перечислить все эпизоды этого кошмарного пути невозможно в краткой статье и трудно из них выбрать наиболее интересные. Великолепен, например, немецкий комендант броненосца, заметивший непредусмотренное движение в чужом, но под его, кайзеровскими, пушками городе, и „отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины, — все это торопливо уходившее мимо города, — немедленно остановились и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений". Но так как „пыльная серая земля" все так же поспешно уползала, огибая город, то он начал обстрел, не считаясь с тем, что в отряде—старики, женщины и дети.

А вот ночной разговор у костра, на кратком привале, двух партизан:

— „В России Советская власть.

— У Москви — и!

— Та дэ мужик, там и власть.

— А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, советов наробылы по станицам, землю казали отбирать.

— Совесть привезли, а буржуев геть...

— Та хиба ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном работае, а на маслобойном, а на машинном, та скрозь по городам на заводах".

Так, без всякой агитации, но на собственной спине испытав смысл совершающихся событий, прояснилось их сознание, и они сами рвались туда, где ждало их спасение — советская власть, власть рабочих — их „ридна власть".

Много жутких эпизодов. Зной, голод, жажда. И лошади, и люди еле идут, падают.

„Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься, подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

— Ни... не дойду.

Садится в сторонке, на куче шоссейного щебня, и смотрит и качает свое дитя, а мимо бесконечно тянутся повозки. У ребенка открыт иссохший почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глаза.

Она в отчаянии.

— Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридно, моя квиточка.

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый беспомощно холодеющий ротик к груди:

— Доню моя ридна, нэ будэшь мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце".

Я опускаю боевые эпизоды, переданные с своеобразной красочностью и со всей живописностью движения...

Кожух победил с этой героической голью. Его качали, чуть было не закачали, носили на руках, его, Кожуха, который неумолимо, жестоко вел, не жалея сил ни своих, ни этой бедноты, превратив сердце свое в камень, а на лицо надев железную маску непреклонности. Потом опять поставили бережно на повозку, чтобы говорил. Кожух раскрыл рот, чтобы заговорить и все ахнули, как будто увидели его в первый раз...

— Та у его глаза сыни...

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него, глаза, действительно, оказались

голубые, ласковые и улыбались милой детской ласковой улыбкой, — не закричали так, а закричали:

— Уррр-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе... Пидемо за им на край свита... будэмо биться за совитску власть. Будем биться с панами, с генералами, с ахвицерьем...

Да. Так вот как было. Это рассказано по-настоящему. Без прикрас, без тенденций. Рассказано стихийно. Со всей напряженностью и убедительностью художественной правды. И без обычной клеветы на голь. Рассказано приемами старого добротного мастерства, от которого повеяло благородной простотой классической литературы, той „сложной простотой", в которой загадочно скрыта высшая художественная мудрость, столь утерянная в наше время, столь недоступная „малым силам".

Это настоящее.

Задача. *По образцу прочитанного напишите рецензию—статью о повести А. Малышкина „Падение Даира".*

СЛОВАРИК.

Геральдика—наука о гербах; **герб**—род щита, с изображением на нем знаков, присвоенных государству, городу, роду и проч.

Символизировать—дать картину с переносным, иносказательным значением; способ выражения, устанавливающий связь с переживаниями, идеями.

Эпопея—собрание былевых сводов в целях связи разных сказаний об одном к.-либо событии.

Эпизод—происшествие, случай, вводный рассказ.

Запорожская Сечь—Запорожье—место за порогами,—Днепровское запорожье; место, где жили казаки на новых, срубленных в лесу местах; сечевики, украинские стрелки.

Скарб—движимое имущество, домашняя рухлядь; казна.

Фабула—басня, придуманное происшествие; содержание рассказа, повести.

Интрига—пронырство, козни, возбуждение любопытства.

Стилевый—стиль—совокупность изобразительных приемов, свойственных художнику; подражание какому-либо словесному образцу.

Эпитет—определение, качественный признак предмета, который прибавляется для более яркой характеристики предмета.

НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА КУБАНИ.

(„Железный поток" А. Серафимовича).

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли?

И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде,

и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом,—все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповський праздник. Человеческий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник:

Долой войну!

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние казаков. Уже нет казаков, нет иногородних, есть только граждане. Нет „куркулей“, нет „бисовых душ“, есть граждане.

Долой войну!

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто только не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия, и все это непрерывающимся потоком к себе, на Кубань, в родные станицы со всем оружием, с припасами, с военными снаряжениями, с обозами.

А на Кубани уж Советская власть. А на Кубань уж налетели рабочие из городов, матросы из потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

— Ну як же нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь,—сказали иногородние казакам.

— Землю вам?!—сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни!!...

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено: отобрать у казаков всю землю и отдать иногородним, а казаков повернуть в батраки.

Несогласных—высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом полз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нема найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки—„куркули“, „каклуки“, „пугачи“.

— Та нема ж найкращего края, як наш край!

И опять стали иногородние „бисовы души“, „хамселы“, „чига гостропузая“.

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее до слез горячую в августе, когда в этом крае еще знойно солнце, и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого, не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездили те на них, и они делали из офицерья кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепа, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны спешат нагнать уходящего красного врага.

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого—заплыли глаза. У этого нос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы,—ни одного нет, чтоб не синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

— Я его у самую у сапатку я-ак кокну, он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног, и давай молотить

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков, и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

— Що ж вы вздумали по морде? Чи у вас оружия нима?

— Та що ж як выпили,—виновато сутулились казаки.

У солдат заблестели глаза:

— Дэ ж вы узялы?

— Та афицеры, як пришлы до ближайшей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять боченков, мабудь

с Армавиру привезли наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахфицеры построили нас, тай кажут: колы возьмете станицу, то горилки дадим. А мы кажем: та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур. Ну воны далы кажному по дви бутыли, мы выпили, а йисты не позволили, щоб дуще забрало. Мы и кинулись, а винтовки мешают.

— Э-э, ссволочи!!.— подскочил солдат,— як свиньи,— и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали:

— Посто-ой, ахвицеры стравили, а его бьешь?

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели раскиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежд, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом — бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз подымались так иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против Советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок, и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго — вторую неделю. А хлеба захватили всего на несколько дней. И каждый день ждут, каждый день ждут, вот, вот скажут: ну, теперь можно возвращаться,— а оно все дальше, все запутаннее; все злее подымаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны, поблескивают на солнце зеркала, качаются между подушек детские головенки и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков, все перемешалось, перепуталось. Идет каждый, где и

как попало. Одни поют песни, другие о чем-то спорят, кричат, матюкаются, третьи — забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текучий поток хоть как-нибудь организовать, командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки, либо орут срамные песни,— это вам не старый прижим!

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и, как сжатая пружина, теснит грудь: если навалится казачье, все лягут под шашками. Одна надежда, глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хочется, чтобы скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью, идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники-бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры и особенно много рыбаков. Все это перебивающиеся с хлеба на квас „иногородние", все это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью,— вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи,— офицерство и хозяйственные казаки, их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки,— нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве — фронтовики, в сердце которых, среди дыма, огня, тысячи смертей, революция заронила непотухающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки, стройно в порядке среди текучего сброда.

Мотают головами добрые кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хату, скотину, домашность,— хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, ало краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папахе, и поют молодыми сильными голосами украинские песни.

Любовно смотрит на них Кожух *): „Добре, хлопцы! на вас вся надия“. Любовно смотрит, но еще любовнее на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду, ведь, он — кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой, тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная, темная косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча, — куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул, да сколько не бейся, все равно — ни кола, ни двора.

Кожух с шести лет общественный пастушенок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а по низу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился, потом в солдаты, война, турецкий фронт. Он — великолепный пулеметчик. В горах забрался в тыл с пулеметной командой и, когда турецкая дивизия стала отступать на него сверху, заработал пулеметом, стал косить, люди как трава, рядами, и побежала на него, дымясь, живая горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человечья кровь может бежать в полколена, — но это была турецкая кровь и забывалась.

За его невиданную храбрость послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина!.. ха-ха-ха — в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядел исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели и тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами подкошенная трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена — царь, отечество, православная вера? Может-быть, но, как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться, выбиться среди стонов, крови, смертей,

---

*) Примечание. Настоящая фамилия „Кожуха“ — Ковтюх.

выбиться, как он выбился из пастушенков в лавочные мальчики. И он спокойно с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков, — офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь, для солдат он свой, земляной, такой же хлебороб, как они. И они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это, как в кровавом тумане, а возле — итти-то надо, итти неизбежно — сзади расстрел, так веселей итти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопается. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно итти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются, офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно, а больше не нужно, тыл, ведь, всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались! Как ни резали на ответах, в конце-концов вполне правильных — овладел таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татааканье, кроваво-огненный ураган, „смерть и ад со всех сторон“, а он, как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок, тяжело упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой: недаром украинец, и череп насунулся на самые глаза, маленькие, колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять?.. мужик... сволочь... раскаряка!.. и... и отсылают в полк за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! в офицерах громадная убыль, и в боях, и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает, добился. И радостно, и нерадостно.

Радостно: — добился-таки своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И нерадостно: поблескивающее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат, — от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: „мужик“, „сволочь“, „раскаряка“, но на бивaках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два, три человека в погонах, вокруг него — пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: сволочь, мужик, вонючая растопыра.

Он ненавидел их спокойно, каменно, но глубоко запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти, и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысячи смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство, и разинулось невиданно-чудовищное, — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; неназываемое, но, когда сделалось явным, простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми, желтыми фабричными лицами и стали раздирать эту треснувшую расщелину все шире и шире, раскрывая ее; забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров.

Когда приехал, все валялось кусками — весь старый строй, отношения, а новое было смутно, неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали вл икующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара; в станицах, хуторах, в селах — советская власть.

Кожух, хотя словами не умел сказать — классы, классовая борьба, классовые отношения, но глубоко почуял это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью — офицерье, теперь оказалось крохотным пустяком пред ощущением, пред этим чувством неизмеримой классовой борьбы, — офицерье только жалкие лакеи помещика и буржуя.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи, — хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы, и так послужить, — нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя, — потому надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось платье, и приехавший Кожух, как был, в рваной гимнастерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках, так и остался, а жена его в — одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли, закипела вся Кубань, и смахнуло советскую власть.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фырканья и бесконечных облаков пыли.

Примечание: Речь идет о походе Таманской армии, в частности ее первой колонны, под командованием тов. Ковтюха (Кожух).

С падением Краснодара (14-го августа н./ст. 1918 г.), отдельные отряды и полки Красной армии, находившиеся на Таманском полуострове, оказались отрезанными от главных сил и были вынуждены отступать окружным путем через Новороссийск, Геленджик, Туапсе на Белореченскую, и только в Курганной соединились с главными силами XI армии (в конце сентября).

В Геленджике, на совещании командного состава, все отступающие отряды были объединены в одну армию, названную Таманской.

СЛОВАРИК.

Злыдень — человек негодный, бедняк, за кем беда следом ходит.
Кокнуть — ударить, хлопнуть.
Скарб — пожитки, домашняя рухлядь.
Бахча — огород в поле, степи, на котором разводят главным образом арбузы, дыни.
Опара — тесто в квашне, заправленное дрожжами.

ВЫБОРЫ КОЖУХА.

(„Железный поток“ А. Серафимовича).

Выделяясь из коровьего мычания, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митинг!..

— На собрание!..

— Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!..

— До витряков!..

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами, и в садах и за садами до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные, перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море, неохватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат, ребятишки шныряют между ногами, собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками, — и все это тонет в громадной, все заливающей, массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, полстяные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах; в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненые штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицеров солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем

поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка Воробьев с аршинными усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

— Товарищи!

Какой же он крохотный этот голос перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз! Около столпился весь остальной командный состав.

— Товарищи!..

— Пошел к чорту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!..

— Не надо!

— Начальник, мать вашу!!..

— Али в погонах не ходил?!..

— Та вин давно сризав их!..

— Чего гавкаешь!..

— Бей его, раз'этак их!..

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал?

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая — голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

— Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение!..

— Пошел к такой матери!..

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем, костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

— И слухать не будемо, и не вякай, стервотье конячее... А-а!.. корова була, та две пары быкив, та хата, та самовар — де воно все?

И опять исступленно забушевало над толпой, — каждый кричал свое, не слушая.

— Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал...

— Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

— А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог!?.

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели?!.

Толпу взорвало.

— Через вас же! Вы же, сволочи, завели, вы сманули. Вси дома сидели, хозяйство було, а теперь, як неприкаянные по степу шандаем.

— Знамо, завели,—густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куды ж мы теперь?

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты!

— Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-а-ли!..

Этот голос услышали во всех концах, а которые и не расслышали, так догадались среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога пробежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, до пояса в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!..

Из толпы на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неотразимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненькими усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

— Ну!.. шабаш...

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно-кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно кричащие глаза.

„Где жена?“...

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все также сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и также расталкивал густо зажимавшую его толпу и в шуме и криках шатавшую в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь, с ними плечо к плечу дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, товарищи, вы знаете. Вместях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь колы так буде, все ведь пропадем. Козачье с кадетами со всех сторон навалились. Одного часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

— Та хиба ж ты погонов не носил?..— пронзительно закричал голый до пояса маленький.

— Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж одинаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сеял?..

— Що правда, то правда,— загудело в стоящем шуме,— наш.

Высокий в матроске, наконец, выдрался из толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями, по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдыхнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный с безусым, девичьим лицом ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четыреугольными челюстями, вынули револьверы, и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к вертяку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

— Собакам, собачья смерть!

— Бей их. Не ост-авляй для припл-оду!..

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все также уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

— Другой скачет!..

— Бачьте, як поспишае!..

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покатившись на задние ноги: всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся на землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

— Та це Охрим! — закричали подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине — черное запекшееся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

— Охрима порубалы казаки!..

— Ой лишенько мени!..

— Якого Охрима?

— Тю-сказывся, не знаешь? Та с Павловской, по над балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты, все было в пятнах крови, своей или чужой, а глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежавшему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно-восковая желтизна, и по глазам ползали мухи.

— Охрим?!.

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди и сейчас же поднялся и стоял над ним, опустив голову:

— Сынку!.. сыне мий!..

— Вмер,— сдержанным гулом отозвались вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал на век простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат среди повозок.

Славянская станица поднялась, и Полтавская, и Петровская и Стеблиевская. И зараз поперед церкви на площади в кажной станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилко б до рук попался. В Стеблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нима жалости, стариков, старух всих под одно. Воны, кажуть, вси болшевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Перепеperечицы...

— Знаемо!—загудело коротким гулом.

— ...просил, в ногах валялся,—повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов целые ящики со снарядами, с патронами, всего наволокли с турецкого фронту, нима ни коньца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказылись. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата с армии дуже мучуть, так и висят по деревьях. Которые отряды отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся под шашками...

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все также носившую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

— Куды?.. Чи с глузду зъихав?.. Павло?!.

— Стой!.. куды!.. назад!..

— Держить его!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во всё плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

— Пропаде не за грош.

— Та у него семейства там осталась. А тут сын вишь лежить.

С железными челюстями разжал их, и тяжело ворочая, медлительно заговорил:

Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые.

— Слыхали?

Мрачно:

— Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь, нема куды податься,— спереду, сзаду — все смерть. Энти вон,— он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени,— може сегодняшнюю ночь кинутся на нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите начальников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны — дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемся к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

— Согласны! — дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

— Так, добре! Зараз выбирать! А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

— Согласны!..— опять дружно отдалось в бескрайной узко-желтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех;

— Та куды мы идемо? Чого шукаты?.. ведь, это ж — разорение! все бросили, и скотину, и хозяйство.

Будто камень кто кинул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебили всих?..

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придемо, оружие сдадим,— не звери ж воны? Вон моркушинские сдались, пятьдесят человек,

и оружие выдали, винтовки, патроны, казаки волоса не тронули, и по сейчас пашуть.

— Та це кулачье ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

— Ты понюхай черного кобеля пид хвост.

— Нас без слов вишать начнуть.

— Кому пахать-то пийдемо...—закричали тонкими голосами бабы,— опять же казакам, та ахвицерам!..

— Чи опять в хомут?

— Пид козачий кнут... пид ахвицеров, та генералов...

— Уходи, бисова душа, поки цел!

— Бей его! Свои продают!

А борода:

— Та вы послухайте... що ж лаетесь, як кобели!..

— Та и слухать нема чого. Одно слово—херфт!

Возбужденные красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

— Помолчить, граждане!..

— Та постойте!.. куды вы меня?.. Що я вам дався, чи я сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их:

— Товарищи, бросьте!—треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

С секунду неподвижное молчание, степь и станица и бесчисленная толпа,—все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Кожу-ха-а-а...

И покатилось, и долго еще под самыми, под синеющими горами стояло:

— ...а-а-а-а...

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни было, а бабы всхлипнули. Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:

— Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого на груди по гимнастерке кровавилось широкое застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке — по шее спускались ленточки, — молча нагнулся и осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

— Вы жер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой...

Стали присоединяться другие голоса, грубые и неумелые, невпопад, розня и перебивая, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

— ...люб-ви безза-ве-ет-ной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же впивается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно-задумчивой степью, и с старыми, почернелыми ветряками, и с высокими чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут, как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевой горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает пыльным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас... святый боже, святый крепкий...— и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом с замкнутыми лицами, насунутыми бровями и стройно колыхаются рядами темные штыки.

— ...вы отда-а-ли все, что мог-ли за не-е-го...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышно густой гул шагов, да

— ...святый крепкий... святый бессмертный...

— ...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие—покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно запорхали нетопыри. Иногда смутно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей,—памятники над богатеями-казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом, а над ними идут и поют:

— ... па-дет про-из-вол, вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеже насыпанную землю с обнаженной головой.

— Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи. Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... С чого ж они погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания вика. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты; а там—Россия, Москва... Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От этого все образуется. На нас идут кадеты, то-есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, сволочь. Но мы им не дадимся, мать их так. Да! мы им покажем! Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей, и поклянемся на их могилах, постоим за Советскую власть!

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала, всхлипывать, тихонько по-щенячьи повизгивая, потом заголосила, за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкаться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

— Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет!

— Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания, не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

Вопросы-задачи. *1. Объясните, почему выбрали Кожуха. 2. По второй части первого отрывка и по этому напишите биографию-характеристику Кожуха. 3. Вдумайтесь в настроение восставших и расскажите об их отношении к б. офицерам и буржуазным элементам казачества. 4. Выберите эпитеты и сравнения из данного отрывка.*

СЛОВАРИК.

Громада — масса, общество, собрание.
Вітряк — ветряная мельница.
Пирамида, пирамидальный — островерхое тело с откосыми боками.
Арба — повозка, телега,— на Кавказе двухколесная высокая телега.
Курган — насыпной холм, древняя могила.
Бісов, біс — укр. чортов, чорт.
Глузд, глузды — ум, память, толк, способности.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ.

(„Железный поток" А. Серафимовича).

Команды сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливают, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, крутят цыгарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

— Товарищи!

Громадная комната, полная людей и полутьмы, налилась тишиной.

— Товарищи!

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова.

— Вы, товарищи, представители рот, и вы, товарищи, командиры, шоб вы знали в яком мы положении. Сзади город и порт заняты казаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены казаками по приказанию офицеров, то же готовят и нам. Казаки наседают на наш ариергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — диря, мы в дире. Казаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться кажную минуту. Так

и будут наседать, поки не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря — там горы высоко и широко разлеглысь, казакам до нас не добраться. Так дойтить нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там наши главные силы, наше спасение. Надо итить з усией силы. Провиянту у нас тилько на пять дней, вси подохнем с голоду. Итить, итить, итить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни питы, ни исты, тилько бежать з усией силы — в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить.

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимого и неслышимого моря.

С сотню глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещали Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге немае, треба бигты бигом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина

— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть, — сказал адъютант, чиркая спичкой, которая то вспыхивала, и тогда выступали сотни глаз, также неподвижно, не отрываясь, смотревшие на Кожуха, то гасла, и все мгновенно тонуло. Наконец, тоненькая восковая свечечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливать, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядывались друг на друга.

— Товарищ Кожух, — заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не командовал, — мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо итти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно!.. правильно... просим!..—поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз также упорно смотрела на Кожуха.

— Як же ж вам отказуваться,—сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так, что она почти сваливалась,—як вас выбрала громада.

Блестящими глазами молча смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа:

— Добре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания — расстрел. Подпишитесь.

— Так что-ж, мы...

— Да зачем?..

— Да отчего не подписаться?..

— Мы и так всегда...

На разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти, сказал Кожух,— хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть!—грянула сотня голосов и не поместилась в столовой,— гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слыхал.

— К расстрелу!.. мать его так!.. Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания... Бей их!..

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цыгарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Кажный, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

— К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь командир, хочь солдат—одинаково...—опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тесно, не поместились голоса и вырвались в темноту.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа, али за рассуждения — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому.

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цыгарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали,— с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным, перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух со все также ровно надвинутым на глаза черепом коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь—должно быть, ее привязывали,— фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной, мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

— Товарищ Кожух,—проговорил он,— вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянуться до вас, щоб вмистях итить.

Кожух глядел на него неподвижно каменными чертами.

— Ще?

— Матросы ходють кучами по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивают, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажуть, треба убить Кожуха.

— Ще?

— Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту сторону, тепер тихо. Наших трое ранено, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре. Иды.

А уже в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины чуть тронулось синевой чудесно сотворенное человеком море; в раме окна чуть засинело живое море.

— Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Итить наискорейше Останавливаться тильки, щоб людям напиться и лошадей напоить. В каждом ущельи выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна

от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей.

— Слушаем! — загудели командиры.

— Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте итить с нами, нехай с тими колонами идуть.

— Слушаю.

— Захватите пулеметы, и, колы що, строчите по них.

— Слушаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным в окурках полом забыто мигал, краснея, огарок, и стояла тишина и тяжелый после людей дух. Ни винтовок, ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренним синеватым куревом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назади, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега, и умерла на море, потому что оно открылось безгранично

Задача. *Расскажите об отношении членов военного совета к Кожуху, выясните его роль в организации плана отступления и защиты от врагов.*

СЛОВАРИК.

Ариергард - арьергард — часть войска, следующая позади главных сил.
Папаха — круглая шапка с бараньим околышем.
Горлопанить — орать, кричать.

„ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК".

Полянский.

В „Железном потоке", „в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные Советской властью, идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры и особенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на

квас... все это трудовой люд, для которого приход Советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств сплошь".

Среди этой „отрепанной, босой орды" — Кожух. Он „кость от кости, плоть от плоти ее".

Кожух — рван, голоден, необразован, с трудом выражает свои мысли и настроения, но в нем железная воля, он твердо знает, — что хочет и что надо „итить" вперед без останова, иначе смерть, прежняя кабала. И он идет к новой жизни, ломится, ощущая ее своим классовым нутром, преодолевая неслыханные и невиданные препятствия. Кожух, а с ним и вся „орда", вырастает в великих героев нашей революции.

Вот баба Горпина. Скребет она себя и причитает: „Що таке буде, солодкий мий! Ой, горя-несчастья выпьемо! Чуе мое сердце. Як выезжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова, та брюхата, а писля того — заяц як стрикане, боже ты мий милосердый! Що ж таке большевики думають: усе добро оставили. Як замуж мене за старика отдавали, мамо и каже: от тоби самовар, береги его, як свий глаз; будешь помирать, щоб детям твоим и внукам. Як Анку выдавать, ей отдам. А теперь все бросили. Що большевики думають? И що буде совитска власть робиты? Та нехай ция власть подохне, як пропаде мий самовар!.. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты. Кобелю власть".

Серафимович подошел к грандиозным событиям с марксистским пролетарским анализом. Это помогло ему разобраться в противоречиво-многогранной действительности, понять, что к чему, и отвлеченную идею облечь в живые, яркие, глубоко правдивые образы.

Серафимович хотел дать небольшое: один только эпизод из величайшей в истории эпопеи, а вышло у него, может быть сверх ожидания, нечто большое и сильное. Не все отделано, не все краски верно наложены, не все пропорции соблюдены и не все части подогнаны, но данные художником контуры останавливают внимание читателя, заставляют вдумываться, от повести переноситься к живой действительности, ею дополнять недорисованное и недосказанное художником и чувствовать, как данные куски жизни правдивы, ярки, увлекательны и поучительны для современников и историков.

Серафимович развернул нам лицо народного коллектива, на фоне которого Кожух и баба Горпина только детали. В этом отношении „Железный поток“ напоминает „Партизан“ и „Бронепоезд“ В. Иванова, лучшие его вещи, в которых так прекрасно выявлено лицо того же народного коллектива, но в других условиях, при иной обстановке. Эти вещи друг друга дополняют в выяснении того революционного порыва, которым была охвачена в годы гражданской войны трудовая беднота.

Серафимович провел пред читателем длинной дорогой орду неумытых, непричесанных, смутно выражающих свои мысли и настроения людей, слабых в отдельности, но сильных в коллективе, знающих свою дорогу и своих классовых врагов. Это из этой „орды“ по адресу грузинского офицера раздались возгласы: „Та ты хто такий?! Господарь?! Мы бьемся с кадетами, а грузины чего под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемся с казаками, третий не приставай. А хто вставит нос в щель, оттяпаем совсем с головой“. В этой простой и грубой форме выражена великая историческая идея, проникнутая и вызванная глубоким классовым чутьем.

Повесть Серафимовича — яркий сгусток жизни, победившей и развертывающейся в новых условиях; она надолго переживет все „тупики“, потому что открывает широкий путь к прекрасному будущему.

* * *

Мы крепко держимся взгляда, что литература, как писал В. И. Ленин, должна быть „колесиком и винтиком“ общепролетарской, коммунистической работы. И естественно, что мы прежде всего интересуемся, чей и какой опыт художник отобразил в своем художественном мышлении. Опыт трудовых революционных масс нам, революционерам, интереснее, понятнее, поучительнее, он больше, он увлекает и сильнее захватывает.

Серафимович дал опыт восставших против гнета и эксплоатации трудовых народных масс: бондарей, парикмахеров, лудильщиков, крестьян, людей, перебивающихся с хлеба на квас. Это, конечно, не опыт гегемона революции — пролетариата; опыт его всего интереснее нам, как глубже отражающий революционную фазу исторического развития. Однако

и опыт трудовой бедноты имеет колоссальное жизненное значение, поскольку пролетариат с многочисленными Кожухами, Горпинами и другими завоевал и творит новую жизнь, красоту и величие которой мы еще не в состоянии и представить конкретно. Этих своих ближайших союзников рабочий класс должен знать всесторонне, дорога еще не окончена, и она длинна, и Серафимович сумел поставить „орду" в такое положение, что она видна вдумчивому читателю со всех сторон, со всем своим внутренним содержанием и внешним поведением.

Опыт, взятый для повести, не утрачивающий своего значения, вечно увлекающий революционное сознание.

Немало этому способствует и то, что в повести Серафимовича чувствуется сконцентрированная пролетарская революционная воля, воплощенная в молчаливом Кожухе, хотя он и не является потомственным почетным пролетарием. Мать его не дышала машинным маслом и гарью горна, сердце ее не стучало среди грохота машин и шума приводных ремней, сам он не пережил радостей совместной борьбы и не прошел тяжелого подпольного пути. „Кожух с шести лет—общественный пастушок. Степь, балки, овцы, лес, облака бегут, а по низу бегут тени—вот его учеба. Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке,—потихоньку и грамоте выучился, потом в солдаты; война, турецкий фронт. Он—великолепный пулеметчик". За храбрость его послали в школу прапорщиков. „Офицеры покатывались над ним: мужик, растопыра, грязная сволочь"... И все-таки он добился звания прапорщика, „спокойно, каменно, глубоко запрятанно ненавидев начальство". А потом на фронте сошелся с фабричными, „и все покачнулось. Точно треснуло пространство, и развернулось невиданно-чудовищное,—невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине, не называемое, но, когда сделалось явным, простое, ясное, неизбежное". Забила вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство. И затем все пошло согласно своему жизненному логическому развитию. Когда Кожух вернулся домой и увидел, что беднота, искореняя буржуазию, забрала его барахло, он махнул рукой и „в рваной куртке, в старой обвислой соломенной шляпе, в опорках... весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью", ушел из дому и стал вождем бедноты.

Если бы мы были сентиментальны или, по крайней мере, жили в период первых рассказов М. Горького, столь трогательных и до сегодня небесполезных картин, мы могли бы написать на тему, что и под рваной одеждой, под грязным бельем бьется благородное революционное сердце.

Кожухов много, имена их не известны, не опубликованы, но они способствовали победе революции, не щадя ни крови, ни головы своей. Это люди, которые делают великое дело, не зная и не замечая, что они герои и творцы жизни. Литература должна их выдвинуть на первый план и показать современникам и грядущим поколениям, показать, что Кожух и те, что с ним, спаянные пролетарским делом, пролетарской кровью,— вот наши герои. Кожух — наш брат, наш друг, наш соратник. камень, на котором строится новая жизнь, цемент революции, Мы его любим. Радуемся его радостями, печалимся его печалями, вместе с ним улыбаемся, вместе с ним хмуримся.

Кожух—молодой, жаждущий новой жизни, творящий ее, в опорках, с желваками, с надвинутым на глаза черепом, но внутренне ясный, светлый, цельный, без колебаний. Как мы верим ему! И как охотно вместе с ним бьемся за счастье человечества!

* * *

Есть критики и писатели, которые по сегодня, не замечая, что они сами стоят на определенно классовой буржуазной точке зрения, повторяют настойчиво, что марксистская и классовая критика убивает искусство, вносит тенденциозность, искажает жизнь, подгоняя ее под коммунистический шаблон. Как это глубоко неверно! Какая темнота! Повесть Серафимовича, несмотря на отдельные промахи, может служить блестящим опровержением буржуазных благоглупостей.

Кто осмелится сказать, что автор идеализировал революционную обстановку, среду, людей, нравы их, подгоняя Кожуха, бабу Горпину и других под коммунистический шаблон? Все они настоящие, живые люди, а не выдуманные, выписанные художником согласно требованиям программы РКП. Они настолько люди, настолько им не чуждо все человеческое, все земное и так близка им всероссийская „мать“, которая слышится ежеминутно и на каждом шагу, длинного пути, что с трепетом ожидаешь, что они не вынесут нечеловеческих страданий пути, страшного и грозного. Им не чужды низкие инстинкты, они не прочь пограбить, они дорожат собственностью

и мечтают по-своему о личном мещанском счастьи в темную ночь под повозкой, они равнодушны к чужим страданиям и даже своей смерти, но с каждой страницей повести все это куда-то исчезает, становится понятным и не таким уже низким, как это выходит у тех, кто пишет и писал о „грядущем хаме“. „Рваная орда“ становится все роднее и роднее, и не столько досадуешь на нее, сколько негодуешь и проклинаешь тех, которые не дали возможности жить ей человеческой жизнью, кто помешал развернуться их умственными нравственным качествам. Одних сожалеешь, других проклинаешь.

Художник ничего не скрыл, все показал без прикрас. Голые, рваные, с блохами, вшами, матерщиной идут они с криками: „смерть!“ и крушат направо и налево черепа противников, не раздумывая над тем, что „человек—звучит гордо“. Некогда им думать над этим. Встало вековое рабство, и оно—беспощадно. Ради конечной великой цели движение не останавливается перед кровью и спокойной жестокостью. Победа или смерть! Это решает методы борьбы. Недаром тов. Ленин говорит, что „революция—не для слабонервных“.

Под всеми внутренними и внешними грубостями, под низкой культурой прошлого, среди всего этого художник высмотрел и выявил в этой „дикой орде“ такие черты, которые все темное отодвигают куда-то взад, в угол.

Вот мать нежно, нежно ласкает своего ребенка:— „Та що-ж ты, мое квиточко, мой увиточек? Та покушай же. Ну, на, на, на! Та що ж ты не берешь? От як мы умием головой вертить, та языком геть мамкину сиську. Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятами! А ноготки, як бумага папиросна. . Дай, поцилую кажный пальчик: раз, тай ще два, тай три! О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловик буде. А мамка буде старенька, тай беззуба, а сыну скаже: ну, стара, садись до стола, буду тебе кашей тай саломатой годуваты“.

А вот другая картина: „У ребенка открыт иссохший почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки. Мать в отчаянии: „Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридно, моя квиточка“,— она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи. Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки... „Доню моя, ридна, нэ будешь мучиться, в муках ждаты своей смерти“.— Разрывает щебень, кладет

туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, и крестит без конца края... Мимо, не глядя, идут и идут"...

Сколько во всем этом простой сердечной ласки и премудрого молчания идущих мимо масс, боящихся своим вниманием, своим соболезнованием растравить сердечную боль матери, и сколько неслыханной стойкости в этой мученице „собачьей жизни".

„Железный поток" крушит своих врагов, но крушит без особого ожесточения, без всякого утонченного самодовольства. Он готов по своей доброте и наивности оставить врага в спокойствии, если он не будет преграждать пути и тревожить налетами.

„Разбойная орда", как выражается Кожух, после победы грабит город: „На базарах, в лавках, в магазинах идет мелькающая озабоченная работа; разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки... Суетились солдаты в невероятных отрепьях, с черными босыми полопавшимися ногами, забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей...— Треба штанив...—развернул, прицелился, опять хмыкнул:— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?..—Магазин дрогнул от хохота:— Та це ж бабьи портки!..—А що ж, баба не человик?..—Як же ты будешь шагать?— разризано, усе видать и тонина...—Вытащил из коробки все, что там было, и стал молча одевать одни за другими,— все шесть штук надел; кружева болтаются пышным валом повыше колена". Искал брюк, другие забрали, надел спокойно женские кальсоны.

И опять-таки во всем этом нет озлобления, зверства, забота прикрыть свое голое тело, жену и ребят, прикрыть, чем попало, крахмальной сорочкой, фраком, лишь бы прикрыть. Нет, тут и жадности, глупого хапанья, лишь бы что-нибудь для себя урвать. Все идет спокойно, озабоченно и даже не считается за грабеж. Когда же настигает наказание, все молча стоят, понуря голову, потом молча же все награбленное складывают „в общий котел", покорно, с сознанием нарушения порядка, выходят вперед и покорно ложатся под плети. А когда Кожух простил их, все радостно поднялись и „стали одеваться в крахмальные рубахи, в кофточки, а правофланговый опят напялил фрак и надернул шесть штук панталон".

А ведь вся эта масса могла поднять Кожуха на штыки, но как велика оказалась в ней сила дисциплины, сознание, что Кожух прав! Во всем этом эпизоде выявились хорошо всем знакомые черты русского народа.

Неподражаемо просто, правдиво, жизненно, без всякой натяжки и тенденциозности описаны похороны. Протестуют:— „Як скотину хороним, без креста, без ладана“. Пригнали силою попа, дьякона и дьячка.—„Ну, слава богу, як треба похоронють“... Дьякон устало, слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос. Кубанец обиделся:—„Ты мать твою, колы будэшь, як некормленая свинья, усю шкуру“... Поп залился тенором... дьячок пустил фистулу,—в ушах зазвенело...—Со-о-свя-а-ты-ми у-у-по-ко-о-й. Все закрестились и закланялись... И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили: —„Дуже хорошо служил батюшка—душевно“.

И в другой раз хотят попа, а не оркестр: „Що ж оркестр? Оркестр—медные трубы, а у попа жива глотка. – Та на якого биса его глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр—воинска часть“.

Народная религиозность изображена с поразительной точностью. И не скоро разберешься в этих путаных мыслях и настроениях, не скоро поймешь, что к чему.

Остановимся еще на одном примере.

„Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали,—нет его. Тогда стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один из рубивших укоризненно сказал:—Чего ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат, як твоя, дочка-трехлетка... в щебень закопали там, у горах,—та я же не кричав.—Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери“.

Вряд ли кто и из врагов скажет, что художник идеализирует „разбойную орду“. Но художник-враг так бы это размазал, такими бы варварами, разбойниками изобразил этих страдальцев, чтобы возбудить против злобу, месть, а Серафимович просто рассказал их, показав не злодеев, не хамов, а темных, грубых, но по-своему справедливых людей. Убивает спокойно, без злобы, лишь памятуя о своих несчастиях. Так же спокойно впопыхах они до полусмерти избивают друг друга, а потом добродушно разговаривают, кто кого и как изуродовал...

А сколько проявляется неслыханного героизма, когда берут мост, вышибают из перевала грузин, врукопашную выбивают казаков.

Не скрыл художник и момента шкурничества, пьянства, эгоизма, разброда, неразберихи, тщеславия, знаменитого русского „авось“ и многих других черт.

Словом, все говорит за то, что марксистская и строго классовая пролетарская точка зрения не помешала художнику дать настоящий кусок жизни, дать живых людей, не подгоняя ничего под коммунистический шаблон и никому не льстя.

Серафимович один только раз сорвался, когда он изображает грузинских офицеров. Не было никакой нужды изображать их отъявленными шкурниками, трусами, готовыми на все унижения, лишь бы сохранить жизнь. Не было особой нужды одевать их в блестящие сапожки и новенькие костюмы. Конечно, среди белых таких было много, но среди них были и глубоко идейные противники, которые боролись с красными героически, самоотверженно, по-своему честно. Серафимович дал белого офицера внешне, он его не показал нам, а описал. Читателю приходится верить художнику на слово, так как он не видит и не знает, во имя чего, как работает его мысль, куда влекут чувства. Нужно было вскрыть классовую сущность этой категории людей через их поступки и мысли. Художник под влиянием своих классовых симпатий, а от них никто не свободен, опустил целый ряд фактов внутреннего характера, и потому его обобщения вышли деланными, мертвыми, односторонними Художник не нашел нужных линий, красок и пропорций.

Думаем мы, что этой однобокостью страдают и фигуры матросов, которые ведут контр-революционную агитацию против большевиков, Кожуха, разлагают „орду“, безобразничают, выдавая себя за истинных революционеров и устраивая покушения. Потом они каются. Во всем этом немало одностороннего освещения. Художественный момент уступил место агитации, тенденциозности, а может быть, самый замысел художника требовал определенных персонажей. В этом случае следовало дать их при другом повороте.

Все же эти отдельные недочеты, досадные и неприятные, не закрывают основного достоинства повести, ее свежести, правдивости, искренности, теплой любви к обездоленному, голодному, темному люду. Повесть должна иметь большое

значение, она должна многим открыть глаза и примирить их с тем, что раньше казалось бессмыслицей, ужасом, разбоем, разрушением, кончиной мира. Серафимович своей повестью оказал великую услугу революции.

* * *

Классовая точка зрения не только не помешала „объективности“ художника, наоборот, помогла ей. Классовый, марксистский взгляд на развернувшуюся гражданскую войну избавил художника от всяких высоких, агитационных фраз о революции, о победоносном пролетариате, о высоких началах братства, справедливости и равенства и прочих отвлеченных высоких материях. В повести все развертывается просто, даже обыденно. Беднота получила от революции землю, увидела „краешек“ иной, лучшей жизни. Она от этого отказаться не хочет и бьется за это на-смерть. Бьется не во имя отвлеченных принципов коммунизма, а за определенный клочок земли, за определенный кусок хлеба. Трезвость классового подхода к революции дала людей земляных, с кровью и плотью, а не вымученных идеально настроенным художником. Художник в повести, пожалуй, даже и не виден. Мимо вас идет, тянется людской поток, и вы наблюдаете, изучаете, как он живет и что думает.

В целом совершенно правильно отображен ход революции. Во главе — Кожух, символ пролетарской сознательности и силы воли; за ним широкая масса, еще не оформившаяся, не окрепшая в своих устремлениях, неустойчивая, могущая сделать так и совершенно иное под влиянием случайных обстоятельств. Прекрасно соблюдены в Кожухе и в людском потоке пропорции классового сознания и классового инстинкта. Конечно, в живой дествительности мы видим тысячи различных соотношений, но в общем художник нашел верное соотношение.

Это в свою очередь определило и другие стороны его повести. Серафимович искусно развернул психологию действующих лиц со всеми светлыми и теневыми сторонами. Он не впал в идеализацию, но и не представил „железный поток“, как поток извергов рода человеческого. Свет и тени наложены правильно. Черной краски много, но и она — в отсвете красных огней революции. Все то, что в людях есть человеческого, высокого и что задавлено было „собачьей жизнью“, художник выявил, четко наложил яркие светлые пятна. Среди

элементов прошлого, под мусором и пеплом он нашел драгоценности, показал тлеющуюся искру великой человечности, элементы психики, которым принадлежит настоящее и грядущее.

Серафимович взял опыт широких трудовых масс, опыт революционного времени и обработал взятый материал марксистским методом, с пролетарско-революционной точки зрения.

Часто у художника бывает разлад между сюжетом, темой и идеей произведения. В повести все это гармонично, друг друга обусловливая и дополняя.

* * *

Написана повесть в прекрасных реалистических тонах, хорошим языком, без всяких вычур, свойственных футуризму, имажинизму и всяким лефам. Лаконичны, скупы, но хороши описания моря, ночи, стоянок. Скупость эта чрезмерна. Художник мог с большей пользой для совести сократить сюжетную сторону,—устранились бы длинноты, повторения и просто лишние детали и мелочи,—и вместо этого следовало шире и глубже использовать пейзаж, конечно, приспособив его к характеру повести, к ее красочному и музыкальному тону.

Указанные и неуказанные недочеты, несомненно, умаляют достоинство повести И все же она может быть признана прекрасным вкладом в пролетарскую литературу нашего времени.

Задачи: *1. Составьте конспект статьи, выделите, в виде заголовков, основные мысли: 2. На основании прочитанной статьи сделайте вывод, какие требования должны предъявляться к художественной пролетарской прозе.*

БАНДИТИЗМ И КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ.

(Из книги „Горькая Кровь“ А. Веселого).

В России революция —
вся Россия в огонь засечена.

Немцы задавили Украину.

Бесчисленные партизанские отряды потоком хлынули на Дон и Кубань.

Станица уселась верхом на реку.

Через станицу катился отряд Черного Ворона.

Тачанки были завалены подушками, перинами и застланы цветными коврами.

Загнанные лошади, перемерившие ногами всю Украину и Дон, всхрапывали то-ль от непомерной усталости, то-ль к дождю.

Гремели пулеметные щиты, цокали подковы, тяжело приседая на зады, ныряли по ухабам орудия, нестройный гам голосов и полотнища пыли качались над обозом, как над цыганским табором.

Накрашенные девки сидели в тачанках, и в каждых девичьих коленях валялась пьяная хриплая голова бойца.

Заседланные строевые кони бежали на привязи за тачанками, и это еще более напоминало цыганский табор, идущий на ярмарку.

За одним возом бежал прикованный на цепь медведь и неистовым ревом оглашал станичную улицу.

В голове отряда на арабской кобыле струнко сидел в седле сам батько Черный Ворон. Добытая в последней атаке под Батайском немецкая каска еле держалась на затылке. Когда-то батько был отравлен газом, и одна половина его багровой рожи,—плюнь—зашипит,—одна половина рожи отливала чугунным цветом, ровно по ней прогулялся горячий утюг.

На него было навешено множество всякого оружия, и его азиатские мягкие сапоги были расшиты червонным золотом.

Никто не знал настоящего имени батьки, звали его просто: „Черный Ворон, истребитель кадетов“. В честь его и отряд звался отрядом Черного Ворона.

В отряде было на всякий случай до десяти знамен всех цветов и оттенков.

Через станицу отряд шел под черным шелковым знаменем, на котором были нашиты черепа и кости и грозные слова:

Спасения нет!
Капитал должен погибнуть!

В станицу вошли с форсом.

Батько, привстав в стременах, повернулся к своим воронятам и хрипким басом скомандовал:

— Весело!

Хватил оркестр.

Две тачанки были сцеплены бортами, поверх застланы досками,—для звона,—и вот уже на них, подбоченясь, стояла любимая жена атамана и лучшая в отряде плясунья, Машка Белуга. На ней шляпа с большое решето, через плечо широкая

пунцовая лента, писаный кушак, драгунские штаны с кантом и самые модные лакированные ботинки.

Стрельнула глазом туда-сюда, в ладошки хлопнула и пошла рвать:

Буржавай ты, буржавай,
Хабур-чабур лимоны,
Долой всяко право,
Гребем мы все законы...

Отряд застонал и закачался в одном реве:

Долой всяко право,
Гребем мы все законы...

Кто засвистал, кто стал стрелять в станичных собак, поднявших гвалт, и медведь, не переносящий собачьего лая, заревел во всю пасть.

Так отряд прошел до церковной площади, где в правлении заседал станичный ревком.

Черный Ворон легко выпрыгнул из седла, бросил поводья франтоватому адъютанту, на голове которого была надета поповская камилавка, и, расправляя онемевшие ноги, полез в правление.

Члены ревкома — по углам.

Батько выложил на стол перед председателем два кольта и закричал:

— Мать, кровь, гроб, жила, столб, даешь сорок пудов печеного хлеба, мяса, овса, мать, спаситель, требуха, крыша, край...

Председатель выкатил расплавленные глаза и по-солдатски отдал честь:

— Слушаю!

Черный Ворон рассек плетью сукно на столе:

— Коники, лаферики, могила, черный гроб!

А на площади бойцы Черного Ворона рассказывали собравшимся казакам и солдатам:

— Украина погибла, всю ее затоптали хищные гады.

— Наша не пляшет.

— Война в Крыму, весь Крым в дыму, ничего не поймешь.

— Гайдамаки торгуют на два базара, и немцы им камрады, и Скоропадский отец родной.

— Но мы, как бесповоротно зараженные революцией, не покорились и драпанули сюда.

— Кровь по колено, гром, огонь.

— Собак на живодерню.

— У Кирилла нету рыла, нечем будет целовать.

— Грудь стальная, рука тверда, вперед, вперед и вперед!

— Отдохнем у вас, и всей хмарой назад посунем.

— Брать их надо на-подлом.

— Бей на лету, падать не давай.

— Спасенья нет, кругом огонь, кругом вода, капитал должен погибнуть...

К вечеру отряд разбрелся по станице на обыск оружия.

Их встречали испуганные лица, бабий плач, писк ребятишек и лай собак.

— Оружья?

— Ни... та какое у нас оружье, та боже-ж ты мий...

— Золото?

— Ни... та какое у нас золото, та мы ж сами голи, босы, хозяин наш сам служить у красных, пид Кореновку в бой пишов, сдан Христу на руки.

Запор, сундук, расписанный цветами. Штык подходил к любому замку — дрынь, и готово.

Из дворов выходили с узлами.

Над станицей плач и вой.

Члены ревкома бегали по улице, собирали сорок пудов хлеба, фуража и баранту.

Председатель босой и охлюпки — без седла — скакал по весенней степи на фронт за своими станичниками. Свистал ветер в ушах, из-под коня катились сторожевые тысячелетние курганы, скрипел чибис — казачья птица.

Костры, черные повозки и люди у костров,— фронт.

— Стой, стой! Кто такой?

— Свой! — крикнул председатель ревкома, и загнанная лошадь его упала и сразу сдохла.

Разыскал свой станичный полк, рассказал про Черного Ворона и его молодцов.

Ночную тишину разбудила команда:

— В ружье!

— Запрягай!

— Вторая рота, ко мне!

Горнист заиграл седловку. Степь загудела от топота.

Жирный, как весенний чернозем, майский ветер носил по степи переплески залпов.

Дрались по окрайку станицы, по бровке насыпи в сотельнике от станицы.

За кочками, в канавах, по уши в грязи валялись красные партизаны и стреляли по огородам и садам.

Вперебой выли и тявкали собаки. Обиженно гоготали гуси. Под жжикающими струями пулемета покорно вздрагивали тополя, и теплые, весенние березы роняли ветки, посеченные огнем.

Из-за хат, унавоженных поднятых огородов, кидались злыми глухими криками.

От станции эхом рикошетилась матерщина, на фланге рвался хриплый голос:

— Левый фла-анг! Фланг подтянись!

На станцию, на грохот выстрелов подоспел сторожевой бронепоезд.

За станцией, в затишьи — пункт. На кирпичной, расклеванной пулями, стене раскачивался в ветре фонарь, занавешенный портянкой. На темных от крови шинелях подтаскивали раненых. Перед мутным оплывшим глазом фонаря засученные по локоть проворные руки бритвой подпарывали грязные сапоги, выплескивали черную кровь на осклизлые доски.

Из располоснутых рукавов и штанин родниковыми ключами били раны. Подпрыгивали, падали крики и стоны. Сердца захлебывались горячим шопотом.

— Пить...

Гремящие переплески залпов били прибоем в ночь.

На путях дремал бронепоезд.

В головном пульмановском вагоне — штаб летучего партизанского отряда.

На лениво игравшем знамени пересыпалась золотая лапша букв.

В вагоне сеялась тьма. Пахло гарью, порохом. Члены штаба убежали драться. За столом, при мотающемся свете пучка свечек, адъютант с писарем забавлялись в шашки и рассказывали армянские анекдоты. Длинный стол был застлан картами. По картам — веерами — цветные флажки, подсыхали озерца пролитого вина, шелушились хлебные крошки.

Пальба схлынула.

Еле слышно булькали одиночные выстрелы.

Короткий и круглый, как огурчик, адъютант свалился со стола и сказал, оправляя свисавший до колена незастегнутый кобур маузера, поставленного на боевой:

— Кажись, погнали, — надо разузнать.

— Я с тобой, погоди, — писарь заметался в поисках фуражки. Матросская привычка — без шапки ни шагу.

По крыше зацарапались, затопали кованные копыта, загремел нетерпеливый удар:

— Отпирай!

Проснувшись, дежурный схватился за погремушку — бомбу.

— Пароль?

Сверху посыпались ожесточенные удары, свирепая ругань, по которой парень и узнал своих. Брязнул засов отодвигаемого люка.

Впрыгнули трое, — к столу, в трехверстку, пальцы забегали по кружочкам:

— На Ведмедовку, Журавку, за Кубань.

— Беспременно сюда сунут. Больше итти некуда.

— Не уйдут.

— Никогда, речка тут взмыла, разведка доносила вчера — мост сорвало.

— Кони?

— Есть, товарищ Рогачев! — адъютант подшагнул к столу:— Тридцать заседланных, полтора десятка холостых, пять мажар, пулеметов полный комплект.

— Люди на местах?

— Есть.

Рогачев махнул рукавом кожаной тужурки:

— Давай сбор, чтоб скоро.

Адъютант выпорхнул, осталось трое, писарь стушевался в темный угол.

Вспугивая жирную степную тишину, играл горнист. В вагоне было глухо, как в гробу, хлопьями плавала копоть.

Рогачев законьячил стаканы.

— Мажары придется бросить, возьму легкие сабли, не уйдут.

В люк упал адъютант:

— Пленные, прикажите?

Допрашивать было некогда, да и не хотелось. Пархоменко махнул рукой. Растугнели еще пару бутылок и, обсасывая усы, полезли наружу.

Ночь ускакала на ветре.

Светало.

Тянуло росистой хмурью. Станица куталась в горьковатый кизячий дым. У колодцев, как всегда, звякали ведрами, квахтали молодайки, босые, с подоткнутыми подолами домотканных юбок. Скрипели журавли. Раскатисто горланили петухи.

Черный Ворон отступал через Кубань.

С бронепоезда на мост бросили пару снарядов, и по реке поплыли подушки, картонки из-под шляп и гуси.

Сразу же станица ожила.

Облаком таяло в степи стадо. Из плетневых прогонов за околицу, как всегда, выматывались снулые волы в мажарах, через наклески свешивались русые ребячьи головы: любопытством и страхом горели глаза — считали трупы, сбивались, тихо спорили, снова считали. Мертвыми кочками торчали в мажарах старики, которых звала степь. Объезжали валявшихся по дороге мертвяков, крестились.

Хлопали ленивыми криками:

— Цоб, цоб-цобе.

На пашню, на бороньбу.

У водокачки раздетые парни и мужики вороновского отряда широко крестились на занимавшийся восток.

У водокачки их расстреливали.

Вздрагивало свежее утро.

Стальные коробки вагонов и открытые платформы с хоботами орудий облепили партизаны: хмелем вьющееся чубовье, широкие малиновые банты, кишки пулеметных лент, расстегнутые рты, глаза на-распашку.

Митинг открыл Рогачев.

— Товарищи, спасибо за работу!

Качнулись в рыке:

— Служим советам!

Закричали, загоготали. Об убитых никто не вспоминал. Над головами заиграли сабельки, темные от крови, загремели выстрелы вверх.

Узловатый голос Рогачева врывался, расталкивался, топтал все голоса:

— Братишки, слушай сюда!

Сердце чесалось, рука удара просила. Была эта вся молодежь из окружных станиц, молодежь — порвать дай. На бандюков крепко серчали.

Чечевицей бросали жребий: кому ехать. Поили коней на дорогу, любовно трепали по крутым шеям.

— Выноси, милачок!

С гребня насыпи Рогачев махнул рукой:

— За мной, повод право, по четыре в ряд, стройся!

Отряд запылил, кони фыркали, звонким копытом рубили родную степь.

Свистали суслики, синей радью били жаворонки.

Взвилось солнце.

А впереди проселками, пашней, мимо тысячелетних курганов и балок Черный Ворон утекал на Медведовку, Смоленскую, за Кубань.

Задачи: *1. Бандитизм в эпоху гражданской войны. 2. Бандитизм и партизанщина (сравните).*

СЛОВАРИК.

Тачанка — походная рессорная бричка, которая употреблялась часто во время гражданской войны для перевозки пулеметов.

Камилавка — бархатная шапочка, носимая духовными лицами в знак отличия.

Кольт — система револьвера.

Гайдамак — ратник, воин — украинский казак.

Скоропадский—ставленник германского империализма, гетман Украины в 18—19 г.г.

Хмара — туча, густой туман.

Баранта — набег, грабеж, захват добычи, отгон скота, часть стада овец.

Сотельник — копна в 100 снопов.

Кизяк — кирнич из навоза для топлива.

Снулый — сонный.

Мажара — большая телега, запряженная волами или верблюдами,— часто встречается в Крыму.

АВТОБИОГРАФИЯ ДМ. ФУРМАНОВА.

Я свое раннее детство помню в жалких обрывках годов до восьми. А тут пристрастился читать. И с тех пор читал много, горячим запоем, особо усердно, Конан-Дойля, Жюль-Верна, Майн-Рида, Вальтер-Скотта и в этом роде. Ученье: городское шестиклассное в Иваново-Вознесенске, там же торговая школа, потом на Волге, в Кинешме, за три года окончил 5-й, 6-й, 7-й классы реального. Засим Московский университет. Закончил по филологическому факультету в 1915 г., но не успел сдать государственные экзамены — братом милосердия с поездами и летучками Земсоюза гонял на турецкий фронт, по Кавказу, Персии, в Сибирь, на западный фронт под Двинск, на юго-западный, на Сарны—Чарторийск.

В половине 1916 г. приехал в Иваново-Вознесенск и вместе с близким другом по студенчеству Михаилом Черновым

работал преподавателем на рабочих курсах. Ударила революция 1917 года. Пламенные настроения при малой политической школе толкнули быть сначала максималистом, дальше анархистом, и, казалось, новый желанный мир можно было построить при помощи бомб, безвластья, добровольчества всех и во всем...

А жизнь толкнула работать в совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в партию к большевикам, в июне 1918 г., — в этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе: беседы с ним расколотили последние остатки анархических иллюзий.

Вскоре работал секретарем губкома партии, членом губисполкома.

Потом с отрядом Фрунзе на фронт. И там: комиссаром 25-й Чапаевской дивизии, начальником политуправления Туркестанского фронта, начальником политотдела Кубанской армии, ходил в тыл белым на Кубани комиссаром красного десанта, которым командовал Епифан Ковтюх. Тут контужен в ногу. Вместе с другими шестью за этот поход награжден орденом Красного Знамени. Потом в Грузию, из Грузии на Дон, с Дона в Москву. И здесь с мая 1921 года.

1917—18 годы писал в „Рабочем городе" и „Рабочем Крае" (Иваново-Вознесенск); годы 1919 — 1921 много писал публицистических и руководящих статей в военно-политических журналах; в то же время сотрудничал нерегулярно в газетах („Известия ВЦИК", „Рабочий Край", „Красное Знамя", „Коммуна" и др.). С 1921 г., приехав в Москву с фронта, написал „Красный десант" („Красная Новь"), „Чапаев" (Госиздат), „В восемнадцатом году" („Буревестник"), начал сотрудничать в московских журналах. В начале 1925 г. вышла новая моя книга „Мятеж" (Госиздат), посвященная гражданской войне в Семиречьи летом 1920 г. После „Мятежа" вышло еще несколько книжек. Теперь вот, года четыре, литературную работу считаю главной, основной. Писал я и раньше, писать начал давно, но тогда это было словно между делом. Теперь — иное. Даже совсем иное.

СЛОВАРИК.

Максималист — член партии максималистов, революционно-народнической партии, возникшей во время первой русской революции из левого крыла социалистов-революционеров. Партия максималистов стояла на точке зрения немедленного осуществления социалистического строя, не считаясь с объективными условиями и возможностями; применяла методы индивидуального террора.

Анархист — последователь социального учения, отрицательно относящегося ко всякой политической власти, требующего общественного строя с полной свободой личности. Будущий общественный строй анархисты мыслят себе, как союз вольных общин. Анархиста интересует главным образом распределение, а не организация производства.

Анархизм имеет несколько течений: 1) коммунистический анархизм, 2) индивидуалистический, 3) христианско-моральный, 4) анархо-синдикализм.

Анархизм — идеология мелкой буржуазии и люмпен-пролетариев.

Публицистика — род литературы, обсуждающей вопросы общественно-политической жизни.

В ЕКАТЕРИНОДАРЕ. ОБЫСК.

(Из книги „В восемнадцатом году" Д. Фурманова).

В доме Кудрявцевых совершилось нечто совершенно несообразное. Когда Анна Евлампьевна возилась с обедом, ожидая „Петрушу" с Надей, а Павел, по обыкновению, отлеживался на диване,—вдруг завизжала калитка, застучали громко по ступенькам, по крылечку, в коридоре, настежь распахнули дверь и трое незнакомых быстро подскочили к Анне Евлампьевне:

— Ты хозяйка?

— Я, а чего-то вы, соколики?—и с недоумением переводила она испуганный взгляд с одного лица на другое...

— На, гляди,—сунул ей в руку билет высоченный детина в поддевке, в мохнатой шапке, в ремнях, с револьвером на боку... Двое других — в шинелях, в кубанках, молчали.

— А я... чего я...—перевертывала она в руках билетик, не зная, что с ним делать,—я вот позову... Павел... Павлуша!..—крикнула сыну... Чегой-то пришли, спрашивают...

— О... о... о...—отозвался Павел Петрович, не подымаясь с дивана.

— Ты поди глянь,—бумаги надо-быть,—выговаривала она что-то и самой себе непонятное, разглядывая маленький билетик, где красовалась фотографическая карточка и зеленела печать...

— А... а... а?—недовольно протянул Павел, но с дивана все же не поднялся.

— Да ты поди сюда!.. Что ты, господи помилуй...

Послышалось вялое ворчанье Павла и отдельные слова, вроде:

— Опять тревога... отдыху нет... вздохнуть-то не дадут, как следует...—Наконец, он появился—с опухшим от сна лицом, мутными глазами, босой, в нижней рубашке с подтяжками на

плечах, волосы на голове дико были взъерошены... Молча и попеременно посмотрел он каждому в лицо.

— Вы к кому?

— Сюда, к вам,—резко ответила папаха...

— Ко мне?—установился на него Павел.

— Не к вам одному, а к целому дому... Да ты смотри билет-то,—оборвал он резко и дернул билетик, что дрожал в руках у Анны Евлампьевны.

Павел взял бумажку с печатью, заглянул и понял, с кем имеет дело, и вдруг лицо его стало бледно и губы запрыгали. Он глянул исподлобья на вошедших, проговорил:

— Кого же тут?.. Нас вот вся семья... Сейчас отец придет да Надежда... сестра.

В это время дверь отворилась и в комнату вошел офицер. Не здороваясь ни с кем, он обратился к папахе:

— Немедленно произвести обыск... тщательный... Да всех задерживать, кто придет.

Позвали со двора двух солдат,—там их стояло человек 5—6, и началось. Анна Евлампьевна настолько растерялась, что позабыла про свою печку, про обед, а на кухне творилось у нее что-то невообразимое: с подшостка соскочил горшок, разбился, и пролитый суп ручейками бежал в комнаты; занавеска, что висела у самой заслонки, как-то угодила краем в печку и затлелась; дым и вонь заполнили весь дом, и никто не знал, откуда этот дым, да и не до дыму тут было. Анна Евлампьевна, сама не своя, подводила незнакомцев то к сундукам, то к шкафу, к разным узелочкам и беспомощно, будто в чем-то оправдываясь, лепетала:

— Приданое... тридцать лет лежит... только в пасху да на рождество...

— Ладно, старуха, ни лепечи, без тебя знаем, где что искать,—ответил ей тот, что разрывал сундук с приданым, парень лет 30, смуглый, черноглазый, с хитрым цыганским выражением лица.

Подошел от стола и второй сыщик, низкого роста, широкоплечий, с пьяными водянистыми глазами, без двух передних зубов.

— Скулит?—мотнул он головой в сторону Анны Евлампьевны.

— А нехай поскулит, перестанет,—ухмыльнулся цыган, разбрасывая вещи из сундука. В это время детина в папахе,

видимо, бывший у них за главного, рылся за образами, выбрасывая оттуда какие-то узелочки, перевязанные пучки „святых“ церковных свечей, разные бумажки и тряпочки, что хранились там у Анны Евлампьевны с незапамятных времен.

— Ишь напихали,—проговорил он, просматривая бегло всю эту ветхую пыльную рухлядь...

— На-ко: чего-чего нет.

— А тут что, тетка? — крикнул он Анне Евлампьевне, указывая на запертый шкапчик под киотами.

— И ничего тут...—залепетала Анна Евлампьевна...—ничего, ей-богу ничего, одна вода святая...

И как выговорила, слезы хлынули ручьем, грязным фартуком размазала по лицу, сквозь рыдания приговаривала:

— Одна вода... Одна святая... Иконку-то бросили... — нагнулась она и подобрала крошечный образок, сброшенный со стены.

— Ну-ну, потом соберешь!—грозно гаркнула папаха,— ишь разревелась, открывай шкаф...

— Да, право, тут...

— Открывай, чорт! Разломаю.

Анна Евлампьевна поспешно достала из шкатулочки связку ключей и отперла заветный шкафчик, где хранились у нее разные святые водицы, крошечный медальон с волоском святого старца, баночка с песком чудодейственным из Оптиной пустыни, разные ложечки и крестики от Троицы-Сергия, немало, словом, разных вещиц, к которым прикасалась она, как к святыне, с благоговением, не иначе, как с молитвой и трепетом, да и то в самых редких, исключительных случаях жизни. И теперь этот чужой, злой человек, с мохнатыми грязными руками, выбрасывает одну за другой драгоценные, так бережно хранимые ею, священные вещицы... Анна Евлампьевна не могда дальше вынести, смертельно побледнела, долго дрожала мелкой дрожью и, как стояла, так и грохнулась навзничь, посреди юбок, узелков, картин, чайничков, святых вещичек из священного шкафа...

— Ну, отлежишься,— прохрипела папаха, продолжая работу. Павел кинулся, было, в кухню за водой.

— Эй, куда? — окрикнул его беззубый.

— Воды... воды ей надо,— показал он на лежащую без памяти мать...

— Ничего, полежит...

— Как полежит? Я ей воды сейчас...

— Не ходи, говорю, аль не слышишь? Вот кончу, вместе сходим,— и он продолжал перебрасывать вещи из маленького сундука, навалив целую груду и зачем-то иные откладывая в сторону. Цыган подтолкнул его в бок, хитро улыбнулся, указывая на Павла, и тотчас же кивнул в сторону кухни:

— Иди, мол, иди...

Беззубый, видимо, понял сразу, о чем говорил ему цыган.

— Ну, за водой-то,— обратился он к Павлу.

И когда они вышли в кухню, цыган начал поспешно обрывать с кофточки золотые брошки, потом выхватил со дна две коробочки, раскрыл, глянул, ухмыльнулся и все это быстро запихал в карман. Папаха рылся уже по шкатулкам, вытряхнул остатки из священного шкапчика; он тоже оглядывал зорко и тоже что-то распихивал по карманам.

Анну Евлампьевну не удавалось долго привести в себя, а когда очнулась, такая во всем теле была слабость, что не могла стоять, и Павел положил ее на диван. Не то дремала в изнеможении, не то заснула, лежала недвижимая, ни слова не говорила, не отзывалась... Приподнялась только тогда, когда в самый разгар погрома явились один за другим Надя и Петр Ильич.

Надя догадалась быстро, в чем дело,— на эту тему с Виктором они говорили не раз. Не сказав ни слова, хотела проскочить к себе в комнату. Но ее задержали и оставили тут же, где разрывали шкафы и сундуки. Она прислонилась к двери, нервно подергивала края носового платка, переступала с ноги на ногу и разгоревшимися, заблестевшими глазами следила, как эти незнакомые люди расшвыривают все, что долгими днями укладывала, пересыпала, обвертывала и увязывала бедная Анна Евлампьевна. А старик, как вошел, так и обомлел.

— Воры! — решил он про себя и закричал бы, если-б Павел не приложил палец к губам и не дал ему знать, чтобы молчал. Только тут понял старик, что произошло что-то исключительное.

— Это ужасно! Что это? Господи... господи...— шептал он, грузно обмякнув в кресле и нервно подергиваясь головой в разные стороны...— Так за что это?..— вдруг спросил он и, поднявшись с кресла, кряхтя и охая, подступил к сыщикам.

— Приказано,— отрубил папаха,— вот и делаем. А ты сиди, старик, сиди, не болтай лишку...

— Да ищете что? — с сердцем спросил Петр Ильич.

— Что попадет, — урезонил его беззубый, перебрасывая с руки на руку и вытряхивая перед собой юбки, платочки...

— Так, господи, что же это такое? — сквозь слезы вздыхал Петр Ильич, снова бессильно упадая на кресла.

Когда здесь все было перерыто, отправились в комнату Нади.

— Не откажите посмотреть, — из ряда вон любезничал офицер, подбирая самые мягкие, вежливые слова.

— Так берите, что ж я могу? — беспомощно ответила Надя...

Он достал одну, другую тетрадку — стал читать. Перестал любезничать, раза два заметно улыбнулся.

— Да... да... Гм... Вот оно что, — по литературе говорите? — и насмешливо посмотрел Наде в лицо. — А я вижу, что плохая это литература... За такую литературу в тюрьму сажают...

— Про что вы? — спросила Надя, стараясь придать наивность и невинность своему вопросу.

— А вот про что, что литература тут у вас... Пушкин, видите ли, Гончаров и... и Ленин еще... Вот что...

— А, знаю, знаю, — хотела слукавить Надя. — Это я на улице... Что-то слышала, проходила и слышала... Меня очень заинтересовало, я пришла и записала...

— Ну и сколько это раз вы случайно на такие разговоры наталкивались?.. Тут вот, что ни страница — все об одном... А?

— Да, несколько раз...

— Ах, несколько раз, вот вы счастливая какая: как ни пойдете, так все на разговор... И тут вот я вижу, что „К" сказал так, а „Ч" сказал вот так. Это, значит, как же? Это что же за „К", „Ч", кто они такие — знакомые ваши?

— Нет... — Надя засмеялась, не зная, что говорить. — Они не знакомые, а так я просто взяла для удобства... одного одной буквой обозначала, другого другой... для удобства.

Офицер неожиданно поднялся с пола, и, деланно вытянувшись во весь рост, сквозь зубы процедил:

— Вы знаете, что я нашел?

И остановился выжидательно. Надя стояла молча.

Тогда отчеканил медленно слово за словом:

— То, что изо-дня в день появляется в лис-тов-ках! Да-с; в подпольных листовках... Что негодяи эти вешают по

заборам-с! За что мы их ловим... Ловим и... расс-тре-ливаем!!! Поняли вы?

Надя, дрожащая, неподвижно стояла перед офицером.

— Я... я... не знаю этого,—пролепетала она...

— Вы очень хорошо знаете!—отрезал офицер,—и не притворяйтесь ребенком, я играть с вами не намерен! Вам грозит, знаете, не тюрьма, тюрьма—что, тюрьмы мало, вам грозит, как и этим... расстрел... Да-с: о...кон...ча...тель..ный расс...с...трелл!!

И быстро подступив вплотную, схватил Надю за руку. Она, как загипнотизированная, даже и руку не отдернула, не могла всего сообразить...

— Я... что же я...—прошептали белые губы. Она сама не понимала, что говорит. Захолонуло, упало все, оборвалось внутри. Рассыпались мысли, занемел язык, только дрожало что-то в гортани.

— И я еще говорю,—продолжал офицер все тем же задыхающимся чуть слышным шопотом,—вы у меня в руках. Я волен сделать с вами, что захочу: и скрыть могу, и предать могу... Так слушайте: я вам оставлю жизнь, я сохраню... я ничего не скажу о том, что здесь нашел, жизнь спасу, но... но... вы будете моей... Ну?!

Одно мгновенье в глубоком молчании ждал ответа он.

Она, казалось, не поняла того, что услышала. И офицер, оставив Надину руку, охватил вдруг талию, потянулся губами к губам...

Вмиг она все поняла. Рванулась прочь, отскочила как кошка и, нервно взмахнув рукой, ударила звонко офицера по лицу.

— Мерзавец!—крикнула ему и кинулась опрометью вон из комнаты. Добежала до постели, в рыданьях упала ничком, тряслась всем телом от нервной дрожи...

Не понимая в чем дело, Петр Ильич со старухой, да и Павел предположили, что она от волнений сегодняшнего дня просто уж не могла больше вынести и разнервничалась. Они побежали сейчас же за водой, за полотенцем. Начали успокаивать...

Дверь растворилась, с искривленным от злобы, с раскрасневшимся лицом появился офицер.

— Увезите эту девицу в подвал!—скомандовал он сыщикам.—Документы я все захвачу сам...— Марш!..

Поднялась суматоха: Надя продолжала всхлипывать и дрожала всем телом; Анне Евлампьевне сделалось дурно, она повалилась на руки стоявшего Петра Ильича, да и сам старик еле держался на ногах; без кровинки в лице, потерявший остаток мыслей, оробевший до последней степени — он только приговаривал:

— Господи... господи... Что это?.. Господи!..

А Павел бледный, как бумага, уговаривал сыщиков:

— Да подождите, хоть очнуться дайте... Куда она уйдет?.. Это бессердечно...

— Ну, живо,— скомандовал офицер, и беззубый с цыганом, подхватив под руки бесчувственную Надю, поволокли на улицу.

— На моей отвези, потом приедешь! — крикнул офицер вслед.

Надю посадили в пролетку и увезли...

В доме Кудрявцевых в эту ночь не спал никто. Анна Евлампьевна не вставала,— она все время была в полузабытьи.

Петр Ильич сначала плакал и стонал около старухи. Павел ходил молчаливо и угрюмо. Так бывает, когда в доме покойник. Ужас охватил всех. Старики растерялись, стали беспомощны, как малые дети, вздрагивали при каждом шорохе.

Глубокая ночь. Тишина. Только Павел пройдет среди разбросанных по полу вещей из „приданого“ стариков. Или заплачет нервно сквозь дремоту Анна Евлампьевна. Или вдруг вздохнет глубоко, застонет Петр Ильич и заголосит:

— Господи, господи, что это?..

В ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ ТЮРЬМЕ.

Надю отвезли в подвал епархиального училища. Здесь подвалы считались самыми надежными, охраняли их юнкера. Народу было набито там видимо-невидимо. Сначала мужчин и женщин сажали в разные камеры, а когда оказалось, что места заняты, гнали гуртом, не разбирая, кто куда попадет. В такую общую камеру загнали и Надю. Ее под руки свели по ступенькам,— стоять она все еще не могла. И как только подвели к дверям, втолкнули, а цыган крикнул заключенным:

— Эй, шпана, товарищи!.. Вот вам еще девку!..

И захохотал.

Никто ему не ответил, заключенные молчали. Они с любопытством разглядывали нового товарища и, когда узнали,

что Надя нездорова, отвели ее в дальний угол, подняли двух, лежавших врастяжку, и на их место бережно уложили ее.

— Воды бы ей надо дать,— сказал кто-то.

— Не дадут...

— Как не дадут? Потребовать!

— Пожалуй, требуй,— не дадут все равно...

— Потребуем!

И говоривший, подойдя к двери, тихо постучал. Ему никто не ответил. Он громче—молчание. Тогда изо всей силы начал он молотить по двери кулаком. Послышался хриплый окрик:

— Што стучишь, сволочь?

— Воды надо дать, тут больная...

— Иди к...

— Дай воды, говорю!— приставал заключенный.

— Дай воды, дай воды!!!—закричали еще 3—4 человека и, приблизившись к двери, все забарабанили кулаками.

— Перестать!..—закричал охранник за дверью.

— Дай воды!!!

И вдруг грянул выстрел...

Пуля пробила дверь чуть выше над головами.

— Сволочь!!.— рычал рассвирепевший охранник,— я дам бунтовать!!. Успокою!.. Пад...длецы!!.

Но заключенные не думали успокоиться. Поднялся невообразимый крик, протесты, брань, проклятия. За дверью на выстрел, видимо, прибежал кто-то из начальства.

— В чем дело?—спросили там.

— Воды сюда!.. И воспретить стрелять!..

Воды скоро принесли, и тот самый, что первый начал барабанить в дверь, подносил Наде доверху наполненную кружку.

Она уже сидела на полу: крики, а главное выстрел, привели ее в себя. Что это было?

Ей объяснили:

— Воды не дают... Вам воды надо было дать... плохо чувствовали..., а они не дают...

— А стрелял кто же?

— Это оттуда... из-за двери..., чтоб не просили...

— И все это... из-за меня?—спрашивала и недоумевала Надя. Смотрела на этого вот смуглого, рябого соседа, что поднес ей воду и думала:

— Кто же он? Ну и что ему я, совсем чужая? А жизнью, ведь, рисковал, могли убить... И что это они какие все тут

дружные?.. А меня, как родную... даже место освободили... Положили... И воды принесли...

С одного лица на другое переводила Надя восторженный, изумленный взгляд, и казалось ей, что лица эти какие-то особенные, что смотрят они по-особенному, и говорят... Это совсем, совсем другие, новые люди... Таких она не знала.

Вот разве Климов один... Да, он, пожалуй, очень будет похож на них...

И, привалившись к стене, глотнула два—три раза из кружки, потом ее поставила, задумалась... Мысли скакали неопределенные, она ни на чем не могла остановиться. Не было ни тяжести, ни страха,—только удручало воспоминание о стариках...

Она в этой новой среде и совершенно новой обстановке чувствовала себя удивительно легко и понимала, что даром в жизни ей это испытание не пройдет, что отныне начинается для нее какая-то новая жизненная полоса,—надолго она или не надолго, не знает, но этот день рассекает гранью на две половины всю Надину жизнь... И замирало сердце в ожидании желанных поступков и дел, совсем, совсем не похожих на то, что окружало ее до сих пор... Это будут новые дела, продолжение тех новых слов, которые впервые она услышала от Виктора. Где он теперь? И что с ним будет, когда он придет и от стариков узнает, что Надю увезли?.. Он, может быть, пойдет разыскивать? И его, может быть, допустят сюда... Мы увидимся... Нет, нет, как же это, разве сюда можно кого допустить?

— Кудрявцева!—вызвал кто-то через дверь. Надя замерла, не могла понять, кто бы это мог окликать и знать ее здесь, в подвале...

— Здесь Кудрявцева?—спросили снова.

— Я здесь,—отозвалась Надя.

— Выходи. Пойдешь на допрос.

Надю привели наверх, и какой-то незнакомый человек, развалившись за столом в полутемной закуренной комнате, задавал ей массу всяких вопросов:

— Фамилия?

Она говорила.

— Имя, отчество?

Говорила.

— Где живете, чем занимаетесь, чем родители занимались, что делали до 1917 года и после, была ли судима и за что,

к какой принадлежит партии, кому сочувствует, как очутились в комнате записки о большевиках, кто такие „К", и „Ч" и т. д. и т. д.

Надя говорила ему, как и офицеру, что записала в книжку лишь то, что слышала на улице, а про Виктора и Чудрова не обмолвилась не единым словом.

Только на прямой и так изумивший вопрос: знает ли она Климова?—Надя ответила, что знает и рассказала, как познакомилась и как потом несколько раз они встречались на улице за это последнее время. Пока говорила, допрашивавший записывал ее показания, а когда закончил допрос, дал Наде прочитать, заставил ее подо всем этим подписаться. И когда уже Надю увели обратно, из-за ширмы вышел офицер, что делал обыск: он во время допроса был спрятан там, хотел проверить, то ли будет показывать Надя, что она говорила у себя в комнате. Потом он опасался, что сгоряча она в его присутствии может рассказать про пощечину, а этого срама опасался он паче всего и потому предпочел высидеть за ширмой добрых полтора часа.

— То же врет сволочь, что и врала,—вяло уронил он следователю.

— Пощупаем, авось раскроется,—ухмыльнулся тот грязной усмешкой...

— Девочка, скажу вам, ну... ну!—офицер, причмокнув, приложил палец к губам.

— Разделяю... сострадательно р... р... разделяю: товарец хоть куда!—подмигнул, подымаясь, следователь. Побрякивая шпорами, они вышли в коридор.

Уже поздно вечером в камеру втолкнули еще троих незнакомцев. Надя узнала из разговоров, что кто-то и где-то „провалился", что стоял в городе готовый штаб Красной гвардии, и весь город разбит был на участки.—Что-то неладное случилось в какой-то подпольной типографии, и тот, которого арестовали в типографии, будто, оказался слаб на выдержку, не перенес испытаний и выдал некоторых из своих товарищей...

В этом новом мире, среди новых людей, она чувствовала себя, как малый ребенок:

— Они все,—думала Надя,— что-то там делали, к чему-то готовились... У каждого была своя большая забота и каждый ее утолял, работал, рисковал, а я—я что сделала?

И ей становилось совестно за то, что ничего она до сих не сделала, что только слушала хорошие слова, но к делу — к делу все еще не приступала...

На утро вызвали из камеры шесть человек, куда-то увели. Больше они не возвращались. Потом еще... А вечером отобрали партию человек в 12: сделали перекличку и одного за другим пропустили сквозь строй солдат, стоявших в коридоре... Надя сначала не поняла, отчего они уходят так глубоко тревожные, опечаленные, отчего им так крепко на прощание пожимают руки, даже обнимают, иные целуют крепко-крепко,— так целуют только в дальнюю разлуку...

Прощались и с ней, и она пожимала руки.

— В расход!

Только теперь узнала она, что означает это страшное слово „в расход". И когда пожимала руку уходящему, словно отрывался в месте с ним кусочек ее собственного сердца.

К вечеру этого дня движение по корироду как-то особенно оживилось; оно не прекращалось всю ночь: одних уводили, других приводили—и все это наспех, чуть не бегом,—только слышался топот по каменному коридору, да грубые похабные окрики. Не улеглось движение и на утро: беготня по коридору не прерывалась. Между заключенными пронесся слух, что в городе неладно, что белым, пожалуй, скоро отступать... Вслушивались в орудийные раскаты, и казались ближе они, совсем, совсем близко. Всех захватили нервные предчувствия и ожидания. Метались по камере взад и вперед, друг на друга натыкались, даже сердились, даже бранились,—нервность чем дальше, тем становилась острей. Теперь одно: или, отступая, всех заключенных белые расстреляют, или не успеют, не успеют... Ах, может быть, не успеют... Может быть, в городе восстание, и восставшие сразу освободят тюрьму?!..

А раскаты орудийные все ближе, все слышней. Нет сил терпеть... Вставали один другому на плечи, тянулись к крошечному окошечку; но что же можно было увидеть на воле из такого чуточного квадратика в стекле?

— Что там видно, что там?

— Ничего, часовой...

И снова начинали ходить взад и вперед, метаться, как звери по клетке. Надя едва ли не спокойнее всех переносила свое заключение в эти последние и решительные часы. Она не предполагала и десятой доли того, что ей грозило в эти

последние часы... На ее счастье того офицера сегодня по утру куда-то услали из города, помнить про Надю было некому.

— Артиллерия уходит,— сказал кто-то.

Примолкли. Вслушивались в лязганье, грохот и визг. Сердце переполнялось радостью или вдруг защемлялось смертельной болью.

— Жить или не жить?.. Жить или не жить?—мучил близкий страшный вопрос.

Вот к дверям подошли, звеня оружием, юнкера и офицеры:

— Выходи по списку!!!

Ох, этот список!!! Роковой, последний список! Есть ли там мое имя? Есть или нет? Есть? Нет?—Каждый задавал себе мучительный вопрос.

— Горчак, Бялик, Аступченко, Пащук, Пархоменко, Бондарчук...

Перечислили до последнего,—в списке не было Нади Кудрявцевой. В камере остались 8 человек...

— Прощайте товарищи, счастливый путь!

— Да, теперь совсем, совсем счастливый путь.

Серьезные, молчаливые пожимали руки оставшимся, один за другим пропадали из камеры...

Вопросы—задачи: *1. По этому рассказу обрисуйте отношение белогвардейцев к рабочим, к молодежи, заподозренной в чтении сочинений Ленина, в сочувствии к рабочему движению, к большевикам. 2. Напишите воспоминания, как белая контр-разведка обыскивала вас или ваших близких.*

О М. ШОЛОХОВЕ.

А. Серафимович.

Как степной цветок, живым пятном встают рассказы тов. Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие.

Все данные за то, что т. Шолохов развертывается в ценного писателя,—только учиться, только работать над каждою вещью, не торопиться.

„БАХЧЕВНИК“.

М. Шолохов.

I.

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки: таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор, как пришел с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся.

— Ну, ты, висляй... Беги на огород, кличь матерю обедать...

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась к краюшку лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором—старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистых половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы.

— Должен семью с радостью поздравить: нынче меня назначили камендантом при военно-полевом суде и у нас в станице... Помолчал и добавил:—В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.—И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты што же, сволочь, голову опустил?.. Не рад отцовской радости? А?.. Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками?.. Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. Вы, говорит,—Анисим Петрович, действительно, блюдете казачью честь, а Федор—сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать... Говори, сукин сын, ходишь к мужикам?..

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красногвардейская утроба, што завтра мы твоих друзей арестуем?.. Знаешь ты, што портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?..

И опять услыхал Митька из побледневшего рта брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, всыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!..

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?..

— Запертая... А на што тебе?..

— Надо, значит.

Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал:

— Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

— Куда?..

— В красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну, так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, штоб все равные были, не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?..

Ответил Митька, не колеблясь:

— Возьму.

Повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату. В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку, чтобы не скрипнула, отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина густая и недвижная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла храпит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь:

— Тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой.

Нащупал склизкий ремешок и холодную связку ключей, протянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк, рукой Митьку за шиворот:

— Ты зачем крадешься, стервец?.. Я тебе чуприну в два счета оболтаю...

— Батя!.. Родненький!.. Я за ключами от конюшни... будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?..

— Кони што-то гудят... Не завалился ли гнедой?..

— Так и говори...— кинул отец на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?..

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет...

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя, и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй. Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом, коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем, — лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застелила соленая пелена и удушье перехватило горло.

II.

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обратал гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами гнедого шуршит, осыпаясь, просохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал:

— Теперь Федор, поди, у большевиков уж... В красногвардии службу ломает...

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость.

Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал:

— Задать бы стрекача туда... к большевикам... Правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носа...

У крыльца снял узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?..

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне...

— Где же он?.. А Федор где?..

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?..— загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?..

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович! Ради Христа не бей!.. Аль не жалко сына?..

— Пусти, чортова сволочь... Тебе говорю, аль нет?..— Оттолкнул мать в сторону, Митьку на пол повалил, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие стонущие крики.

III.

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало.

— Бу-у-ух...

Рокочущий густыми переливаниями гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненых завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону; сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красноармейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые

запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно, медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!..

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим, как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай,— шагом, арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего низкорослого шатающегося ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.

IV.

Мать возится у печки, кончает стряпаться.

Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька!.. испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным...

У матери на глазах мокрая пленка.

— Отнеси, сынок, может и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже, небось, ночами подушки не высыхают...

— А как батя узнает?..

— Не приведи бог... Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, штоб передали.....

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет?.. Стой!.. Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным принес.

— Кто такой?.. Проваливай, пока приклада не пробовал!.. Чорт тебя носит по ночам, дня тебе мало харч носить...

— Погоди, Прохорович, никак это комендантов парнишка...

— Ты Анисима Петровича сынок?..

— Я......

— Тебя кто же с харчами прислал?.. Отец?..

— Не-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший бородатый ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать?. Ты того не можешь понять, што они нам есть самые вредные враги?.. А ежели я про эти дела батеньке твоему доложу?.. Он как за это тебя примолвит?..

— Брось, Прохорыч.. Жалко тебе чужого хлеба?. В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим...

— А ежели Анисим Петрович про то узнает?.. Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к чорту, расплакался!.. Эй, парнишонок! Ты куда же удираешь?.. Тащи свои харчи, передам што ли.

Передал Митька молодому в руки узелок, нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригинаясь у плетней и оглядываясь.

V.

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы.

Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цыгаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь... Веди-ка нынче в ночное гнедого, да смотри в хлеба не пущай... Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей...

Обратал Митька гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маманька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе с станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел, на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками.

Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые слюни...

— Ми.. ми тя.. тя.. тя.. тя.. тя... тя...

И смех глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и

комочки белые, слизистые... На полу около валяется отцовский наган, ручка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердечный, куда глазенки твои глядят!.. Узнал отец, что мать носила пленным харчи, убил ее до смерти и на тебя грозился...

VI.

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил.

Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын... Не надо нам таких то... у него брат в красногвардии, и мать-сука пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники

— Он, господа старики, платы не просит.

— Говорит, за Христа ради будет стеречь бахчи, будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает...

Но атамана все-же послушались. Наняли.

Да и как-же не нанять обществу мирского батрака, никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради.

— Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещеткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору, мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нем сено возят летом станичные казаки, по нем гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов, внизу за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится.

Как-то ходил Митька туда, где путанным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам казаки из конвойной команды, в средине они—красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В ливадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще... и...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колена, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будорожат застывшую тишину.

— Тук-так, так-так... Та-та-тах...

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе-ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

VII.

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник!.. Выдь на минутку...

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда пробегали трое в солдатских шинелях?..

— Не видал.

— Смотри, не бреши. Строго ответишь за это...

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматило свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться, ужас параличом ковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

Прислушался...

— Кто тут?..

— Человек добрый, выйди ради бога...

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?..

— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя!.. Братунюшка! Родненький!..

. . . .

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними, как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек 8 конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя... Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна немо гудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?..

— Энти тронули рысью, скрываются под горою... Ну, лежи.

Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька, бледнея:

— Федя!.. Отец скачет!..

Рыжая отцовская борода пòтом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово.

Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори, где Федор?..

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?..

— Нет.

— А это што за кровь возле шалаша?..

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!..

Вошли — отец передом, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш!.. Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пущу...

— Нету... не знаю...

— Это што у тебя за бурьян в углу?..

— Сплю на нем.

— Посмотрим, — шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья. Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами. Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а!.. Это што?..

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок.

. . . .

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буеромом, густым терновником, шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде.

Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом месте.

— Ну, пора, Федя... Эта половина должно быть неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду. Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светло, где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло-румяную каемку протянул рассвет.

Задача. *По этому рассказу проверьте, если вы — казак или знакомы с казачеством, насколько Шолохов правильно передает язык казака и, главное, его переживания в эпоху гражданской войны.*

Тема: 1. Разложение казачьей семьи в гражданскую войну.
2. Запишите народные выражения.

СЛОВАРИК.

Якшаться — с кем-нибудь знаться, водить знакомство.
Чуприна — чуб.
Тачанка — походная рессорная бричка, которая употреблялась часто во время гражд. войны для перевозки пулеметов.
Левада — огороженный луг, огород, сад.
Будыль — ствол крупного травянистого растения.
Настырный — бойкий, дерзкий.
Буером — (буерак) овраг.
Турсучить — от слова турсук-берестяной, или плетеный из травы кошель; турсучить — плести, закручивать.
Висляй — праздный шатун, повеса; неуклюжий.
Лычко — лычки — нашивки для отличия чина у младшего казачьего офицерства.
Стрянуть — застрять, увязнуть; здесь в переносном смысле — бросает укор.
Цевка — трубка.
Латать — чинить, класть заплаты.

КОРНИЛОВЩИНА.

(Из книги „Ледяной поход“ — Р. Гуль).

... Переехали на казачью сторону. Народу в поезде стало мало. Я не бывал на Дону; вглядываюсь в людей, смотрю в окна. Вошли несколько казаков с винтовками, шашками. Сели рядом. Разговаривают. Я ищу новых, бодрых настроений — преграды анархии.

Казак лет 38, с рябым зверским лицом, с громадным вихром из-под папахи, сиплым голосом говорит:

— Ежели сам хочет, пущай и стоит, есаул, а мы четыре года постояли, с нас будя. Прошлый раз на митинге тоже стал: „Станичники, вы себя защищаете, казацкую волю не погубите“ — (он представил есаула).

— Четыре года слухали... — мрачно отозвался хмурый, молодой казак.

Вскоре они вышли из вагона. Я понял, что эти казаки — из частей, стоявших на границе области, на случай вторжения большевиков. Из разговора их было ясно: они самовольно расходились по домам, открывая дорогу войскам Крыленко...

... Среди потока интеллигентных лиц, хороших костюмов, иногда попадаются солдаты в шинелях на распашку, без пояса, с озлобленными лицами. Они идут, не сторонясь, бросая злобные взгляды на офицерские погоны. Если б это было в Великороссии — они сорвали бы их, но здесь иное настроение, иная сила...

... С каждым днем в Новочеркасске настроение становится тревожнее. Среди казаков усиливается разложение. Ожидается выступление большевиков. Каледин нерешителен. Войсковой круг теряется...

Штаб Добровольческой армии решает перенестись в Ростов. Верхом, со своими адъютантами, переехал туда Корнилов. В этот же день переехал полковник С. и мы, первые офицеры его отряда.

В Ростове штаб армии — во дворце Парамонова. Около красивого здания — офицерский караул. У дверей часовые.

Стильный с колоннами зал полон офицерами в блестящих формах. Среди них плотная, медленная фигура Деникина. В штатском, хорошо сшитом костюме, он больше похож на лидера буржуазной партии, чем на боевого генерала. Из угла в угол быстро бегает нервный худой Марков. Появляется начальник штаба — молодой надменный ген. Романовский, хитрый Лукомский, с лицом городничего, старик Эльснер; из штатских — член 1-й Думы Аладьин, в форме английского офицера, сотрудник „Русского Слова“ — маленький горбатый Лембич, Борис и Алексей Суворины...

Но с перенесением штаба в Ростов, общая тревога за прочность положения не уменьшается. Каждый день несет тяжелые вести. Казаки сражаться не хотят, сочувствуют большевизму

и неприязненно относятся к добровольцам. Часть из еще не расформированных войск перешла к большевикам, другие разошлись по станицам. Притока людей из России в армию — нет. Командующий объявил мобилизацию офицеров Ростова, но в армию поступают немногие — большинство же умело уклоняется.

В это время в сто человек сформировался отряд полковника С., и через несколько дней мы несем первую службу — занимаем караул на станции Ростов.

Настроение в городе тревожное. Вокзал набит народом. То там, то сям собираются кучки, говорят и озлобленно смотрят на караульных.

Офицеры караула арестовали подозрительных: громадного роста человека с сумрачным лицом, „партийного работника“, маленького лакея из ресторана, человека с аксельбантами и полковничьими погонами, офицера-армянина и др.

Лакей, собрав на вокзале народ, кричал: „Офицера, юнкеря это—самые буржуи? С кем они воюют! С нашим же братом — бедным человеком. Но придет время — с ними тоже расправятся, их тоже вешать будут“.

Пришли в ст. Плотскую, маленькую, небогатую. Хозяин убогой хаты, где мы остановились — столяр, иногородний. Вид у него забитый, лицо недоброе, неоткрытое. Интересуется боем в Лежанке.

— Здесь слыхать было, как палили.., а чевой-то палили-то?

— Не пропустили они нас, стрелять стали...

По тону видно, что хозяин добровольцам не сочувствует.

— Вот вы образованный, так сказать, а скажите мне вот: почему это друг с другом воевать стали, из чего это поднялось?—Говорит хозяин и хитро смотрит.

— Из-за чего?.. Большевики разогнали Учредительное Собрание, избранное всем народом, силой власть захватили — вот и поднялось.—Хозяин немного помолчал.

— Опять вы не сказали... например, вот скажем, за что, вот, вы воюете?..

— Я воюю?—За Учредительное Собрание. Потому что думаю, что оно одно даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь.

Хозяин недоверчиво, хитро смотрит на меня.

— Ну, оно, конечно, может вам и понятно, вы человек ученый.

— А разве вам не понятно? Скажите, что вам нужно, что бы вы хотели?

— Чего? Чтобы рабочему человеку была свобода, жизнь настоящая и, к тому же, земля.

— Так кто же вам ее даст, как не Учредительное Собрание?..

Хозяин отрицательно качает головой.

— Так как же? Кто же?

— В это собрание-то нашего брата и не допустят.

— Как не допустят? Ведь все же выбирают, ведь вы же выбирали?

— Выбирали, да как там выбирали,—у кого капиталы есть, те и попадут,—упрямо заявляет хозяин.

— Да, ведь, это же от вас зависит?

— Знамо, от нас,—только оно так выходит...

Минутная пауза.

— А много набили народу-то в Лежанке?—неожиданно спрашивает хозяин.

— Не знаю... много...

Примечание: В настоящем отрывке бывший белый офицер Р. Гуль передает настроение трудящихся и их отношение как к большевикам, так и к белым.

Рядовое, фронтовое казачество, на которое так надеялись белые генералы, воевать не хотело, а трудящиеся города и иногородние крестьяне к белым относились явно враждебно.

Упомянутая здесь деревня Лежанка замечательна тем, что, проходя через нее, корниловцы расстреляли свыше 500 крестьян.

ВЗЯТИЕ СТАВРОПОЛЯ.

(Из книжки Г. Батурина „Красная Таманская армия").

Учитывая бывшие до того на практике примеры, решено было наступление начать ночью. До сего времени замечалось, что к ночным действиям, исключая переброски частей, противник склонен никогда не был и предпринимаемые ранее нами ночные атаки всегда удавались. Кроме того, ночью возможно было ввести неприятеля в заблуждение относительно действительной линии растяжения наших частей, облагающих Ставрополь. С этой же целью, далеко за наш левый фланг в направлении северо-запада, были посланы разъезды, снабженные ракетами. Задачей разъездов было, по первому сигналу

к завязке боя, зажечь ракеты. На моральную сторону боя возлагались большие надежды. Ракеты способствовали нам в этом.

Наконец, были отданы соответствующие распоряжения по частям и начальнику артиллерии тов. Лисунову (быв. командиру 2-й колонны). Дожидались наступления ночи.

Время было рассчитано так: как только взойдет луна и рассеется, бывающий в этой местности с вечера, туман, — мы отбросим первые линии неприятеля и, по возможности ориентируясь, будем продолжать стремительное наступление, не давая противнику времени закрепиться где-либо.

В 23 с половиной часа донесено было, что сигнальные ракеты взлетели на Холодной горе. Это означало занятие вторым правым отрядом гор Холодной и Острой.

Дан был приказ начать общее наступление до обозначенных ранее пунктов. Под покровом темноты наши цепи стали подвигаться вперед. Ровно в 24 часа, по сигналу, наша артиллерия открыла огонь по укрепленным линиям и тылам противника, из 18 орудий, имевшихся при первом отряде. Слышны были выстрелы и со стороны Холодной и Острой. Это работала артиллерия 2-й дивизии. Около часа ночи туман стал рассеиваться. В это время наши цепи достигли расстояния, с которого можно было начать атаку. Главной ударной группой командовал сам врид. командующего тов. Смирнов.

Лишь только взлетела условная ракета с шоссе, центра нашего наступательного движения, как пушки наши замолкли, а после третьей ракеты, таманцы с криками „ура“ бросились на окопы противников.

Высланные ранее на ближайшие пункты наши оркестры заиграли „Марсельезу“ (в то время „Интернационал“ еще не был разучен оркестрами в армии). Звуки оркестра в ночной темноте, взлетающие в разных направлениях ракеты, неожиданный удар и крики „ура“ — произвели ошеломляющее действие на противника.

Опрошенные пленные, из числа коих были и офицеры, рассказывали о впечатлении, какое произвели на противника быстрота неожиданного удара и обстановка, сопутствующая ему.

Взяв первые линии укреплений, наши сгруппировались у подножия возвышенности и густыми цепями полезли на высоты.

Подготовка атаки артиллерийским огнем много облегчила дальнейшие наши действия. Огонь был настолько удачен, что местами неприятельские окопы буквально были срыты. Следующие за тем события боя менялись быстро. Неприятельский бронепоезд был отрезан и брошен убегающим противником.

Таманцы с поражающей быстротой продвигались вперед, сбивая противника на всех пунктах, где он старался удержаться.

Второй отряд, будучи на более близком расстоянии, ранее первого занял ближайшие кварталы, также разбив противника под городом.

Войска, вынесшие почти 20-часовой бой, были утомлены.

В город послали разъезды, которым была поставлена задача взять жел. дор. станцию. На утро Таманская армия входила с музыкой в город Ставрополь, приветствуемая трудовым населением. Трофеи были многочисленны: обмундирование, масса заготовок обуви, боеприпасы. Последние, хотя и не в большом количестве, но все же на первое время пополнили запасы расстрелянных окончательно патронов. Продовольствия, в том числе сахару, было много. Два неприятельских бронепоезда, вооруженные 5-ю дальнобойными орудиями, автомобили, телефонные аппараты и прочее дополняли трофеи.

Занятие Ставрополя имело в то время громадное значение. Оно подняло дух всей советской армии на Сев. Кавказе. Постоянные отступления Сорокинской армии страшно угнетали массы, теперь же воскресла надежда на успех. (Противник, в свою очередь, почувствовал сильный толчок и казачество уже не так слепо стало доверять своим вождям и верить в их непобедимость). Разгром Покровского и занятие Ставрополя были совершившимся фактом.

Слава Таманской армии достигла высшего напряжения и распространилась среди всех войск Северного Кавказа.

КОНЕЦ КОРНИЛОВЩИНЫ.

(Из книжки Р. Гуль — „Ледяной поход").

Начался штурм Екатеринодара.

Весь день проходит в ожидании. Вести из боя какие-то странные. Приедет верховой, сообщит: Екатеринодар взят. Едет второй: не взят, наши отбиты с большими потерями. Томительно тянется день, другой... От Екатеринодара катится беспрерывный гул, штурмуют.

... Обоз раненых разместился по станице. Мы устроились в церковной сторожке, в ограде церкви...

Большая комната застлана соломой. Под-ряд лежат раненые...

Утро. Третий день штурма. День голубой, теплый. Артиллерия гудит без всякого перерыва. Ружья и пулеметы слились в беспрестанный перекатывающийся треск.

Раненые сидят на паперти церкви. Прислушиваются к гулу боя, стараясь определить: близится иль нет. Ничего не поймешь. Как будто все на одном месте...



Красноармейский отряд под Екатеринодаром.

Красная каменная церковь вся исстреляна снарядами.

... Вечереет. Гул не стихает. Еще ожесточеннее, страшнее ревет артиллерия. Как будто клокочет вулкан...

— Я Львов, Перемышль брал, но такого боя не слыхал,— говорит раненый полковник.— Они из Новороссийска 35 тяжелых орудий подвезли и палят. Слышите... Залпами...

Артиллерия ухала тяжелыми, страшными залпами, как будто что-то громадное обрывалось и падало...

Ухнет страшный залп, содрогнется маленькая церковка и все люди в ней.

... Тяжелая ночь — почти без сна. Прибывают, прибывают раненые. Места нет нигде. Сторожка завалена. Кладут снаружи. Одолевает дремота, но нет сил уснуть. Раненая в грудь сестра задыхается, кричит: „Воздуха, воздуха, не могу, не могу“. Ее понесли из комнаты... Стоны, стоны и опять крики сестры...

Голубое утро. Опять все лежат, сидят в ограде. Бой ревет попрежнему. Четвертый день штурмуют город. Большевики сопротивляются, как нигде. Укрепились, окопались, засыпают снарядами. Наша артиллерия молчит. Почти нет снарядов. Подымаются цепи за цепями. Идут атаки за атаками. Пехоту сменяет кавалерия. Отчаянно дерутся за каждый шаг.

Едут верховые, сообщают новости: добровольцы заняли часть города, дошли почти до центра... Бой идет на улицах. Мобилизованные казаки плохо дерутся. У них матросы и тоже пластуны-казаки сопротивляются отчаянно.

Привезли раненую сестру, большевистскую. Положили на крыльце. Красивая девушка с распущенными подстриженными волосами. От нее узнали, что в Екатеринодаре женщины и девушки пошли в бой, желая помогать всем раненым. И наши видали, как эта девушка была ранена, перевязывая в окопе и большевиков, и добровольцев.

* * *

... 31 марта. Пятый день беспрерывного гула, треска, взрывов.

Потери добровольцев стали громадны. Снарядов нет. Обоз раненых удвоился. Под Екатеринодаром легли тысячи. Мобилизованные казаки сражаются плохо, нехотя. А сопротивление большевиков превосходит всякие ожидания. Сделанные ими укрепления сильны. Их артиллерия засыпает тяжелыми снарядами. Они бьются за каждый шаг, отвечая на атаки контр-атаками...

Добровольцы охватили город кольцом, оставив большевикам лишь узкий проход. Но теперь на пятый день боя кольцо добровольцев охватывается наступающими с разных сторон войсками большевиков, спешащими на выручку Екатеринодара.

Бой с фронта. Бой с тыла.

Каждый час несет громадные потери. Подкреплений ждать неоткуда. Положение добровольцев грозит катастрофой.

Яркое солнце. Веселое утро...

Подходит бледный, взволнованный капитан.

— Ты, ничего не знаешь?

— Нет, что?

— Корнилов убит.

Примечание. После разгрома Керенского все белое офицерство с фронта и городов центральной России повалило на Дон к атаману Каледину, объявившему самостоятельность Дона. Здесь-то под охраной Каледина генерал Алексеев приступил к организации добровольческой

армии из офицеров, убежавших от Советской власти. Сюда же 6/19 декабря 1917 года прибыл генерал Корнилов, который принял командование добровольческой армией. Сорганизованные отряды добровольческой армии отправлялись на помощь калединцам против наступающих с севера и с Украины отрядов Красной гвардии под командованием Антонова-Овсеенко.

Калединцы, несмотря на помощь добровольческой армии, были разбиты, и Красная гвардия заняла Ростов и Новочеркасск, а белые 9/22 февраля 1918 года отступили из Ростова в так называемый „Ледяной поход“ на Кубань, на соединение с войсками Кубанского войскового правительства.

Добровольческой армии удалось к 26/III — 8/IV — 1918 года добраться до Краснодара, уже занятого Красной армией. Добровольцы повели наступление на город, но дружными усилиями Красной армии и рабочих Краснодара были разбиты, здесь же 31/III — 13/IV был убит ген. Корнилов и добровольческая армия начала отступать обратно в Донскую область. Место ген. Корнилова занял Деникин.

В 1919 ГОДУ.

Яров.

... У ворот стояли две женщины, разговаривали. Один голос певучий — бабий, другой резвый — девичий.

Остановился Чубарый в тени и слушал: наверно, про братву говорят.

— Ды, ведь, мать-то у вас вчера пекла?

— Все проклятые съели, как саранча налетели и нам ничего не оставили. Сели ужинать — нету... сидят ждут, вот понесу.

— Чего же это вы кормить-то взялись? На них, дармоедов, не напасешься!..

— А оне какие... Пришли, как домой:—Ну, старуха, ужинать, ужинать. Мама говорит: — Нету, сударики, нету... Один на нее по матерну как запустит в бога, мама аж перекрестилась.— Сейчас, сейчас, сударики...—и отдала им все... Потом за ее же добро ее же как начали, как начали:—Ага, прячете! белым берегете, белых ждете... Контры вы,— грит,—лицемеры!.. Отец-то наш, ведь, в подводу уехал, от него все ни слуху, ни духу. Вон Тарасов-то Павлушка вернулся, сказывал, видал его около Саратова, дальше погнали куда-то... Мы одни остались... боимся, дрожим.

— А вы бы комиссару пожалились.

— Ну их, только бы ушли поскорей, еще посодют.

— Какой комиссар, а то он их разгуляет... Я своим только пригрозила — к комиссару пойду, присмирели, а уж што было, што было!

— Все они такие... вольница, никакого уему нет.

— Все, все такие... Вот, милая, нанесло. И не было еще таких и, не приведи бог, не будет. Сколько их через нашу деревню-то прошло; ведь, уже два месяца все идут и идут, уж дорогу-то вон какую глубокую, прямо канаву вытерли. А от пыли по целу дню неба не видать... Вон тополя сделались черные, рожь черная, избы черные, рожи у всех черные, чисто арапы какие стали с ними... Кажись, сколько уж перевидала их, а таких не видовала. Уж как входить стали, по одному этому видно... с песнями, будто победили всех на свете, идут веселые, будто не оне пятки смазали, отступают. И здоровы ихи ноги: сколько прошли, а один вышел — плясу, плясу, милая, уж што выделывал. Пляшет и шляпой соломенной машет, а сам чернай, как чорт и совсем босой — голяшками, этак и так выкидывает. И смех, и грех. Вот уж где без порток, а в шляпе!.. А одеты-то! Хто во што, хто чего где стащить успел... Стоим это мы с Дарьей Сируновой, загляделись, хохочем, нету моченьки. Потом она спохватилась: — Батюшки, а билье-то у меня висит, стащут еще и побегла убирать.

— Ну, прощай, я пойду, а то ждут... ужинать не с чем.

— Прощай, прощай, милая... Э-хо-хо-хо-хо от свово-то хлеба.

Разошлись бабы. Пошел своей дорогой и Чубарый.

Опустела, умолкла улица.

Разбрелись по хатам, спят красноармейцы и мужики.

Зажмурились и хаты ставнями, тоже будто уснули.

Все спят.

Угомонилась ободранная, истерзанная пылью и матом покрытая прифронтовая деревня.

В одной избе только увидел огонь. Подошел. Так и знал — собрание.

Высокий, худощавый комиссар Батыгин перегнулся над столом с поднятой рукой, словно через стол хотел кого-то достать и пристукнуть... Потом встряхнул кудлатой головой, откинул лохмы назад пятерней и потом снова махал над головами. По старой шахтерской привычке он рубил рукой, как в шахте киркою. Врубался и здесь в вековые пласты.

С тревогой смотрел Чубарый.

Рубит шахтер... все врубается... отрубает камень за камнем у батьки из-под ног.

— Толкует, наверно, свое, партейное... Сидит братва, и поразинула курятники, слушает.

Засмеется Батыгин — все смеются... Довольные переглядываются. Упрется своим выпуклым крутым лбом,— все упрутся, слушают, начиняются...

Чувство у Чубарого было такое, будто Маруху его кто обхаживает.

Ревность обожгла.

Хотелось ворваться туда и отбить братву. Заливает, мол, пыль в глаза пускает.

Но опомнился: „На словах его нешто обговорим, тоже спец свово дела... Ладно же, пусть болтает, мы на деле докажем"...

А ночь была бархатная, южная. Одела деревушку мягким темным бархатом и помирила под ним всех — и мужиков, и красноармейцев... Утро, мол, вечера мудренее, спите, мол, разберетесь завтра. Послушалась деревня мудрого совета, пригрелась, помирилась и уснула.

Не примирился и не уснул только Чубарый... Сверлила мысль... „Рубит шахтер, под самый корешок подрубает, свое дело делает... Или права братва... да мать твою... в комиссара... Когда же нас опутали?"

Ушел батько за деревню в поле. Лег на курган и о тылах, штабах, о комиссарах задумался:

„Когда жо это оне?.."

Первый комиссар налетел к нему, боевой, речистый, голефистый. С бомбой, с аршинным мандатом, со словечками заграманишными... И сразу в чужой монастырь влез с своим уставом.

В первом же бою братва „израсходовала", да так ловко, что и похоронили с почетом, и концы в земле.

Второй приехал „с подходцем", подъезжал на маслице... Митинги любил больно, хлебом не корми, бывало, только собери братву покалякать. С утра до вечера говорил, хриплый всегда был... так и этак подъезжал:

— Дорогие товарищи... наша Красная армия защитница..., а потому мы должны, дорогие товарищи... да, именно обязаны...

„Дорогие товарищи“ только переглядывались, пересмеивались: „Нэ-хай, он прислан для этого, с него-ж требуют“...

А когда окунулся он в дела и начал уставлять свой порядок, и „нажимать“, сказал батько ему: „Вот што, дорогой товарищ, вот тебе бог, вот порог и катись, свет... на легком катере“... Посадили на телегу, велели уезжать и на глаза больше не показываться.

Да... было время... Вздыхал только батько о нем.

Потом вызвали в штабарм, по особнякам таскали, допрашивали, грозили.

Подумакивал восстание поднять, но пример перед глазами — григорьевщина, всяким бунтом только волынку заволынишь, а Кубань-то еще дольше не увидать. Уйти к белым? — и в голову не приходила такая блажь — тут же повесят, а если и не повесят, и все вернется по-старому — еще хуже, значит, опять жить оплеванным. Опять жить-тужить без земли и молча глядеть, как куркули живут, барствуют.

Понял тогда же Чубарый — податься некуда. От комиссара, как лошади от хомута, вертись не вертись, не отвертишься.

А тут парень подвернулся хорош — прислали третьего комиссара. Как глянул на него Чубарый: сам детинушка под потолок. Ряжка скуластая, черно-бурая, словно кована из потускневшей меди... Выцвела она не то от тюрем, не то от кабаков, не то от ветров и дождей степных, не то от всего вместе, горят на ней только светлые — глаза. Из-под крутого упрямого лба смотрят наглые, веселые и озорные, прямо „даешь“ кричат.

С первого взгляда приглянулся хлопец, и сам Чубарый предложил ему:

— Давай ладить.

— А партизанить не будешь?

— Кончил.

— Ну, давай.

Потом навсегда осталося в памяти от первой встречи еще вот что: долго Батыгин расспрашивал.

С удовольствием Чубарый рассказывал о былых подвигах, о Думенко рассказывал он с какой-то грустью: нда... было, мол, и прошло.

— Вот она...— показал красиво выгнутую, серебром украшенную саблю,— Думенкина. В налет раз ходил... три дня пропадал, тарараму в тылу им наделал. Не ждали, думали, пропала голова. Как явился, снял с себя: „Н-на, грит, руби ею,

как я рубил...“ Вот и рублю... Не скажет она, никому не пожалуется, что в плохую руку попала...— Выхватил из палаша и блеснул ею в воздухе... Блеснул глазом Чубарый, и не успел Батыгин отвернуться, как просвистела сабля у него над головой... Потом направо, налево... Извивалась над столом, меж стульями... Мелькала неуловимая, только воздух свистел, рассекаемый со страшной силой.

Глядел Батыгин, будто только узнал его в этой зверской вспышке. Молчал, что-то обдумывая. Потом тронул за рукав. В упор, прямо в глаза заглядывал, сбоку, исподлобья, испытующе... Уперся лбом, будто бодаться припасся.

— Антон Архипыч, ты знаешь, ведь, что Думенко был первым партизаном? Вот!.. Если партизанить кончил... отдай эту шашку, я ее в музей сдам. Есть такое дело.

Тревожно вытянулся Чубарый, откинулся назад, будто вздрогнул.

— Нет, Яков Семенович... эту шашку получит лишь тот, кто снесет мою голову.

Ничего не ответил Батыгин. Только прищурился, словно для того, чтобы скрыть, какая мысль мелькнула в этом упрямом лбу.

В этот же вечер они опять мирно беседовали об очередных задачах и разрабатывали план работы. В каждом пункте этого „плана“ чуял Чубарый — новый устав, новый закон пишется для его братвы — не моги барахлить, не моги требовать шамовки, не моги в „расход пускать“ своим судом и управой .. по струнке ходи и оглядывайся... Открыто в поход на всю братву вышел этот крутолобый шахтер.

Потом, после совместного обхода — приказ по части о замеченных недостатках. Отказаться подписывать было нельзя, потому что когда ходили и говорили о них, выходило так, что и Чубарый согласен с ними и он их видит и тоже собирался исправить. Скрепя сердце подписал, а подписал — екнуло сердце... Почувствовал, будто предал братву... Но успокоил комиссар разговором.

— Давай, Антон Архипыч, по душам поговорим. Первое — насчет партизанщины... Вот у меня у самого родина — шахты донецкие — у белых... Могу я поэтому понять тебя и братву.

В ответ Чубарый мотнул головой. Он был уверен — только тот поймет его, кто на своей шкуре испытал деникинщину.

— Вот... нам с тобой, значит, надо отбить — тебе Кубань, мне — шахты... А всей Советской России надо разбить белые банды... Вот, для того, чтобы отбить свое, нам тоже нужно становиться в общий фронт. Не за Кубань, не за шахты итти, а за всю Советскую власть... Вот, а если каждый за свое, то получится лебедь, рак и щука.

Потом долго толковали насчет братвы.

Казалось тогда Чубарому, что у самого у него тоже мелькало что-то вроде этого, только додумал и вслух говорит Батыгин за него его мысли.

Скоро сошелся Батыгин со всей братвой.

В бою он шел впереди, не отставая от Чубарого. В плясу — тоже с батькой на пару выходил и тоже не выдавал... И митинг проведет, скажет по-нашенски и матюжок пустит кудрявый — свой человек. Правда, подтягивал тоже здорово. Но, несмотря на это, Батыгин был первым комиссаром, которого здесь считали своим человеком.

С Чубаровым они совсем сдружились. Та настороженность, которая появилась после их разговоров о шашке, прошла.

По вечерам они часто беседовали и читали газеты о центрах, тылах, о загранице, о мировой революции.

Но почувствовал Чубарый — чем больше сходился с комиссаром, тем больше отходит от него братва. Начинался разлад в душе... Раздиралась душа, его душа мужицкая.

Памятен еще случай: привели к ним арестованного за воровство кур красноармейца Потехина, рыжего чудака, любимца всего отряда.

— Товарищ комиссар, человек ты сознательный, ведь тыщу лет страдали, весь век, можно сказать, жрали один минимум — хлеб да картошку... теперь нам и курятинки не поесть? Што-ж это за Совецкая власть?..

— Ладно, ладно, друг, иди!

— Товарищ комиссар... принципиально протестую: такого орла в клетку — за што? За курицу?!. Оскорбление личности.

Несмотря на „оскорбление личности“, на трое суток комиссар все-таки посадил.

Поднялся весь отряд... Напустился на батьку. Битый час бился батько.

А комиссар только выставил лбище и твердит одно.

— Товарищ Чубарый, а „план“ помните? Написали, так давайте выполнять.

Чубарый уступил, но решил сквитать свое... Была у них потом стычка из-за „трофейного имущества“. Чубарый ни за что не хотел отдавать его на другие части. Потом из-за пленных, которых „пускали в расход“... Все чаще и чаще, на каждом шагу стал упираться Чубарый в этот упрямый лоб...

Вспоминал истории с первыми комиссарами, мирился...

Этак да так они все-таки ладили, а когда прислали офицеров да сразу трех, потом в это же время появился начальник особого отдела, открыл свою лавочку... ладу не было совсем... все эти офицеры и особняки клиньями вошли в трещину между ними. И Чубарый откололся совсем. Откололась и вся братва.

По одну сторону — комиссар, офицеры, особняки, тылы — штабы и вся „лавочка“, по другую — братва. К ней он и ушел со своей шашкой.

С тех пор говорили только о делах. С тех пор они больше не толковали по душам и не читали газеты.

С тех пор задумал Чубарый дело свое и все думает о нем и все чего-то ждет.

И сейчас он думает, когда на кургане лежит... Так же Разин когда-то лежал...

„И в полуночной мгле
На высокой скале
Он великую думу задумал“.

Все ближе гремели орудия. Дышал в лицо, колыхался, будто с испугу, пахучий степной, теплый ветерок.

Шуршала трава, словно недовольная, что ворошит и теребит ветер ее.

Лежал Чубарый, а вверху над ним, словно покрывало черное, как покойника накрыло... Как покойница лежит под ним сейчас и Кубань...

Что-то ныло внутри.

Чуялось, эта ночь не пройдет даром. Хороша уж больно она для налетов. Хотя сзади их есть часть — астраханский полк, но ненадежен, могут прорвать и залететь сюда.

Как старики чуют костями старыми дождь, так и Чубарый разбойничьим чутьем чуял в такие ночи налеты...

Встал и пошел поверять все посты.

Темы: *1. Психология партизана. 2. Роль коммуниста в партизанском движении.*

„РЫНЬ-ПЕСКИ".

Андрей Хмара.

Широко расплескались расплавленным золотом астраханские Рынь-пески. Конца краю не видно! Ни жилья, ни зверя, ни пахоты. Редко встретишь на радость верблюду засохший ковыль иль степную колючку. Песок. Зыбучий, горячий песок.

Дразнит томимого жаждой соленое озеро. Глотнешь — ожжешься! Глубоко под собою несут пески хладоструйную влагу и ревниво таят великую тайну ее бытия. Так и подохнешь собакою, не раскрыв ее. Не дальше аршина от жизни. А потом... высушит кости на ветре и занесет зыбучим песком.

Кости! Белые кости! Сколько их? Сколько их всеми забытых, в беспорядке разбросанных! Чьи они? — Неведомо.

Тишь. Только ветер порывом диким вдруг взметет до самого неба мелкий и едкий песок. Да вот еще орлы степные-стервятники с клекотом мчат на добычу.

Чу! Люди, кони, верблюды, обоз... Армия. Тысячи красных бойцов. Идут... Идут. Усталые. Отощавшие. Оборванные. Босые.

Левой! Левой!

Тонет нога в Рынь-песке. Солнце желто, как медный таз. Печет — словно летом.

Пропала вода. Вглубь ушла — не достанешь. Пи-ить!

— Раз. Два. Три. Четыре.

Жарки были битвы. Уходят. Кони падают, дохнут верблюды. Сзади — белый овраг, впереди — раскаленное желтое море. Пи-ить. Горящие щеки. Безумные глаза. Тиф.

Левой. Раз, два, три, четыре!

Орел-стервятник полетом ленивым отсел в сторону от верблюжьего трупа. Уставился злобно. Тщетно рыщут в песках калмыки-провожатые. Вода ушла глубоко. Сушь. Слышен стук крови в висках...

— Не выпячивай грудь! Ро-овняйсь! Левой! Левой! Раз! Два!

Трупы павших несут на плечах. — Не отдать врагу.

— Левой. Раз. Два. Раз. Два.

Косит смерть. Пал последний верблюд. Идут. Изможденные.

Сладок отдых на каждом холме.

В бредовой горячке вновь оживают прожитые дни.

Пылают станицы. Шомполы. Пеньковые петли. Лица близких. Предсмертные судороги. Золотопогонная сволочь.

— Левой. Левой. Раз, два, три, четыре.

Бредовы тревоги. Карре. Залпы, беглый огонь...

— Левой! Левой!

Снова реет орел — чует поживу, хищник.

— Раз, два, три, четыре!

Хороши на Кубани станицы. Холодком от садов, что вокруг хат, так и веет. Любо.

— Раз. Два. Раз. Два. Левой.

Любо в ратном бою грудью на грудь с врагом биться. Выплюнуть прямо в очи ему свою жгучую ненависть.

— Левой! Левой!

Тонет нога в песке. Тяжко. Солнце печет.

— Не поддаться. Уйти... для борьбы.

Чьи кости белеют? Пи-ить.

Не убить! Не убить правды. Все равно она победит.

— Левой. Левой. Раз, два, три, четыре.

Сладко. Сладко до жути лечь за нее. Слаще мести.

— Раз. Два. Раз, два, три, четыре.

Идут...

Снова и снова восходит жаркое солнце. Быстро редеют ряды. Пылают верой сердца — другие придут.

Вот они! Вот — восстают молодые, полные сил, бурной отваги. Лихо мчат лавой. За правду.

— Раз. Два. Левой. Левой. Левой.

Чу! Маячит жилье. Бодрей равняется грудь. Шаг живее.

— Левой!

Пусто. Чернеют сожженные мызы. Не слышен голос муллы с минарета мечети. Колодец высох — занесен песком.

— Мимо!

— Левой. Раз, два, три, четыре. Левой, левой!

Пить. Нет сил нести дорогие тела. Сгибаются ноги. Смерть.

— Здравствуй, смерть, за новую жизнь!

— Раз. Два. Раз, два, три, четыре. Раз. Два!

Примечание. Речь идет об отступлении XI-й Красной армии с Северного Кавказа на Астрахань, через Астраханские степи в начале 1919 года.

Вопросы-задачи. *1. Куда и зачем идет армия. 2. Вдумайтесь в настроение идущих. 3. Прочтите этот отрывок выразительно; находите ли вы в языке рассказа особенности, отличающие его от обычной художественной прозы.*

ИЗ ПОВЕСТИ НАШИХ ДНЕЙ.

А. Костерин.

I.

Запыленные снегом горы.

Мутный Аргун облизывает снежные скаты. Кружит, ворчит угрюмо на поворотах. Узкой щелью пробивается на сизую плоскость.

Скрипуче проползла арба через зыбкий мост и зацарапалась в гору по узкой дороге. К аулу Дочь-Борзой, что зацепился на склоне горы.

— И-олло, и-и дель на...

Хлестнул кнутом чеченец лошаденку.

Нетерпеливый мальчишка выпрыгнул из арбы. Быстро по тропинке ушел в заезженные улицы.

— Это ты, Митька?— окликнули из сакли,— иди сюда... из города...

Взглянул и отмахнулся:

— Подожди... после, надо к Гикало...

В штабе было шумно. Коротали дни песнями.

Мы пьем веселимся, а ты нелюдим.
Сидишь, как затворник в неволе...

Пел Назарбек сильным тенором. Расширились выпуклые, рачьи глаза. Горбатый нос и щетинистые усы. Чеченец.

Вторил Ляшенко скриплым голосом. Черный, хохол, бывший полковник.

Когда я на почте служил ямщиком...

Вошел Митька, шмыгнул носом.

— Гикало здесь?

Привстал Гикало с нар.

— Из города?

— Да... через Гойты... с Ибрагимом... Письма привез...

— Ага... ну, хорошо, давай, а сам ступай закуси... голоден.

— Да нет... так...

Нахлобучил шапку.

— Так я сейчас приду...

Хрустнул конверт.

Вылез листик почтовый и грязный обрывок из конторской книги.

— Вы пойте, пойте, т. Назарбек...— поправил очки и читает...

А тенор тоскует:

А сердце щемит да щемит у меня,
Как будто с ней век не видался...

—... с ней век не видался...— скрипит Лященко, шевеля черными усами...

Слова прыгают по почтовому листку, краска окрашивает углы скул Гикало...

„Т. Листиков. Вот посылаю письмо из тюрьмы, все готово. Ради всего святого помогите нам, там их очень много, только поскорее, я их просила, чтобы они подождали пока донесу Вам. Еще говорю, что много берутся за это дезертиры, которые скрываются. Тов. Листиков, еще раз говорю, все готово. 2 роты солдат подготовлены к этому и хотят занять город...

Если можно, высылайте одного на рассмотрение дела, еще раз прошу не задерживать, потому что скоро будет расстрел, и они хотят совершить побег, потому что невозможно так продолжать. 25-е ноября. Нина“.

Смолкла песня.

— Смотри, наш батько сведения получил...— шепнул Лященко.

Сверкнув стеклами очков, Гикало взял обрывок... Морщинка легла меж бровей. Краска ярче прошла по лицу...

„Уважаемый тов. Листиков. Мы, заключенные при грозненской тюрьме, получили точные сведения о расстреле всех сочувствующих Советской власти в тюрьме. В виду этого, организацией тюрьмы назначен массовый побег с занятием г. Грозного. Посему обращаемся к Вам, как политическому работнику, с просьбой помочь в этом. Наша задача заключается в следующем:

1) Занять город со всеми учреждениями, для чего необходимо Вам с группою вооруженных людей подойти к тюрьме в указанный день и час, где тюрьма уже будет сама освобождена, которая сама вооружится и займет город. Или если это невозможно, то просим Вас проводить нас в лагерь т. Гикало. Сообщаем еще, что имеем точные сведения, что 2 роты стрелкового полка настроены в нашу пользу, но не

имеют руководителя. Если Вы нам не ответите и не посоветуете, как нам быть, то все равно побег будет совершен. При сем присовокупляем, что желательно было бы совершить побег с занятием города, ибо момент настал. Ожидаем с нетерпением Вашего ответа. 1919 г. 19-е ноября. Грозненская тюрьма"...

...Тихо в сакле. Назарбек и Ляшенко молча курят. Струйки дыма кружатся в усах.



Н. Ф. Гикало.

Гикало задумчиво свернул папиросу. Глядел на носок сапога. Скрипнула дверь, и боязливо заглянул чеченец.

— Ибрагим, хаволь (иди сюда)! — окрикнул Назарбек.

Боком ввалился.

— И здрасть, Гикал... и здрасть ..— хлопотливо жал руки. Крупный горбатый нос вытер папахой...

— Садись, Ибрагим...

Торопливо сел. С готовностью посмотрел на Гикало.

— Новости какие знаешь?

— Новости есть... моя кунак есть... эт Гойты...

Быстро повернулся к Назарбеку. Гортанно, принижая голос до шопота, говорил. Качалась крупная голова.

— Воты... — остановил Назарбек.

Ибрагим оборвал и затеребил кинжал.

— Да... новось...— вздохнул и слушал перевод Назарбека. Бегал глазами на Гикало.

— Он говорит, что видел своего кунака из города, который вчера вернулся из Моздока. Этот, его кунак говорит, что слышал там о движении Красной армии к Св. Кресту. Идут большие бои, и кадеты отступают... Потом говорит, что в Гойтах есть два солдата, которые бежали от казаков... Они придут сюда завтра или после завтра...

— Ну, а о Св. Кресте ерунда... Хабар чеченский. Ну, ничего, Ибрагим, спасибо... Можешь итти...

Ибрагим вскочил.

— До свидань...— и вылез в дверь...

— Вот прочитайте.

Назарбек и Ляшенко склонились над листиками письма.

Вошел Митька.

Бойко заговорил о поездке в город. Подтвердил письма.

— Хорошо, Митя. Пока ступай, отдохни. Можешь сегодня ехать в город?

— Хоть сейчас.

Ушел, а в комнате тихо.

Думается всем о сотнях людей, ожидающих помощи.

— Т. Ляшенко, пошлите за Червяковым.

— Слушаю-с.

Поднималась ночь от мутных вод Аргуна. Поползла по склонам. Вставала из леса, ущелий, оврагов и плотно влипла над аулом...

Замер аул, и четко зачокали копыта... Трое всадников крупной рысью поскакали по ущелью...

II.

Нина только что собралась спать, как кто-то тихо, размеренно стукнул в окно раз, а потом два раза.

Стук тревогой сердце толкнул.

Вышла во двор и к калитке.

За ней чмоканье грязи и кашель в кулак.

Приоткрыла калитку.

— Тетка Марья.

Шопот:

— Я... я...

Близко клонится, дышит в лицо:

— Митька приехал... Говорит, сейчас же иди...

Сжало в груди.

Кровь застыла.

А той уже нет. В темной улице лишь чмоканье грязи.

Вбежала в комнату. Схватила книгу, блузку. Не то. Надо быстро одеться.

Шаль накинула, свет потушила и вышла в черную сырую ночь.

Вдоль стен и заборов скользила и тянула ноги по грязи. Грязь и ночь. И тишина. А вот здесь, где-то во тьме, за углом, сторожит чуткий страх и тревога. Запыхалась. Холодевшую грудь схватила рукой.

Вот и дом. Сюда надо постучать осторожно...

Митька распоясался с дороги. Шумно пил чай и жевал хлеб.

— Здравствуй, Митя... Ну, скорей... ну, как?.. Чего ты пропал?

Жарко и душно стало. Сбросила шаль. Грудь вздрагивает, а руки холодные...

Митька отодвинул стакан и закурил.

— Что, ближний конец? Три дня всего, а отсюда... эге. Да посты ихние... сегодня спугнули один... Заполошились они...

— Три дня... а они ждут... со дня на день собираются сами устроить побег...

— Ну, ты, подожди... Нельзя так... Гикало сказал — надо организовать...

— Хорошо, что решили.

Села. Холодными руками сжала щеки.

— Ты завтра же передай вот это письмо в тюрьму... Там все сказано... Потом, завтра же надо повидать солдат... Червяков в садах... Так вот связать надо... Организовать...

Долго шептались. Она молодая, вздрагивающая, а он мальчишка. Курит и на пол плюет.

Лампа слушала, дразнила бледно-желтым языком.

Большие тени качались на стенах.

III.

Бежали дни. Зима с горных вершин бросала белесые тучи. Тучи сеяли снег. Белыми шапками понакрыты горы. Пеленою белой убегала плоскость.

Тихо в ущельи. Ослабел Аргун. Бессильно звенит волной под скалами.

Лениво тянутся дни отряда, что расположился в ауле Дочь-Борзой. На снежной площадке маршируют ежедневно. И вновь сидят по саклям у жарких печей.

В штабе не слышно песен. Ожидают сообщений из города. А получат,—долго мучительно думается, и дается новый приказ в город:

„Терпение и выдержка. Организоваться и бить затем“...

Только что прибыл Митька. Отдал письма и тут же заснул в комнате вестовых. Устал..

В штабе жарко и накурено...

— Итти сейчас на восстание — страшное безумие,— говорил Гикало. Стекла сердито блестели.

— В городе до 10 тысяч войска, 30 орудий, пулеметы... Нас — 150 человек, разутых, раздетых... Куда мы пойдем в мороз?

— А там 400—500 человек, многие в кандалах, безоружные...

Ляшенко кусал ус. Палкой слегка стучал по полу.

Тихо... Думается тяжело, мучительно.

— Надо все же выступать...— как бы про себя сказал Гикало.

— Или же они сами без нас выступят.

— И их всех перережут, как цыплят.

Взъерошил усы Ляшенко и встал.

— Назначим день.

— Ночь с 21 на 22 декабря.

— Есть. Осталось три дня... Митька успеет смотаться... Я пойду готовиться.

Ляшенко козырнул и вышел.

IV.

21-е декабря.

Вечер побежал по вьюжной, снежной плоскости к синеющим вдали горам.

Ветер взметывает пыль снегов. Тонкими, свистящими струйками тянет по плоскости.

Хрустящий боярышник и чертополох клонятся под ветром и шепчутся в сумерках.

Из ущелья темными тенями вышел отряд. На плоскость спускается. Тянут руками пулеметы.

И орудие за отрядом ползет. На руках. Маленькое орудие, поршневое. С времен Шамиля завалялось в горах, а отряд

подобрал. Заботливо вычистили, и вот ползет, хрустит по дороге за отрядом. Режет веревками плечи красноармейцев.

Вьюжно, морозно на плоскости.

Темной полоской дорожка бежит. Маячат снега. Призраки носятся. Пугают пляской вихревой. Исчезнут. И вот уж рядом, за спиной, свистящим шорохом заметают следы...

Снег хрустит под ногами.

Сзади Гикало верхом. Единственная лошадь на отряд.

Задернулись мглою горы. Кругом снежный ветер кружится. Ползает в лохмотьях. Бросает дрожь по телу.

— Ну, братишки, вприпляску...

— Дуй до горы... Э-кхе...

— Не жалей лаптей...

Сталь винтовок жжет морозом. Пальцы-деревяшки цыгарку не держат.

Вприпрыжку, вприпляску спешат по дороге.

Согреться к орудию и пулеметам на смену бегут.

— А куда нас батько ведет?

— Надо полагать, к городу... Туда дорога пошла...

— Погреться бы с казаками.

— С казачкой лучше...

Рысью проехал Гикало.

— Ну, как, товарищи, плохо?..

— Нет... Ого, мы вприпляску... Жарко стало... Шинельку бы в обоз подбросить. Невмоготу, пот шибает,—сыпали шутками.

— Т. Ляшенко, а вы бы с песней...

— Можно... А ну, подравняйся! Затягивай, чтоб девки не журились.

Ночь, снега и ветер.

Бежит дорога, хрустит под ногами:

— Раз-два... раз-два...

Смело товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Охнула шуршащая ночь. Полтораста глоток дерзко грохнули:

К царству свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Вьюжит ветер, гонит струйкой снег... Мороз гуляет в лохмотьях... Мелькают призраки в пляске вихревой...

Ровней и бодрей шагает отряд. Звякают пулеметы. Орудие хоботом качает...

Хрустит дорога...

Ночь бежит час за часом. А плоскость все та же. Как будто топчутся на месте.

Застыли ноги. Отяжелели, свинцом налились. Ветер слезу вышибает, морозит на щеке.

— Ну, и морозы стоят... Откуда они здесь такие?..

— Тяжело, братишки, итти... Застыл...

— Ну, ты, сопля мерзлая... Иди...

— Тащить не буду... Не навязывайся...

— В бой бы уж... легче...

Захрустел снег под копытами...

— Устали. Ничего, немного осталось... Подтянитесь...

И вновь устало бредет отряд. Тяжело, с надрывом волокут непослушное орудие...

Замаячили тени справа. Бродят во тьме под ветром.

— Смотри, что там?

— Хе... дык это Алдынское кладбище...

— И впрямь к городу идем...

— Неужели брать?

— Может страху нагнать.

— Стой! — послышалось сзади.

Подъехал Гикало. Слез с лошади.

— Встаньте кругом, товарищи...

Застывшие, недоумевающие сгрудились вокруг. Пытаются закурить.

— Вы знаете, товарищи, куда идете?

— Куда? Не знай. Все одно — куда вы, туда и мы...

Морозно, ветрено, а слова как расплавленный металл — жаром пахнуло.

— Мы идем в бой с казаками... Там, в городе, в тюрьме, несколько сот наших товарищей не нынче — завтра будут расстреляны. Сегодня ночью они восстанут, а мы должны им помочь. Если мы этого не сделаем, их всех перебьют... Несколько сот красноармейцев, рабочих, крестьян... Наша помощь следующая — мы должны сейчас взять новые промысла и оттуда известить наших товарищей в городе, чтобы они начинали... Взять же промысловую гору, вы сами знаете, нелегко — там стоит один батальон, две сотни казаков и четыре орудия... Нас же 150 человек.

— Эх... чего там!.. Идем, товарищ Гикало!..

Круглый серый, замерзший, заговорил, зашевелился...

— Вы видите, что идем мы почти на верную смерть?.. Но кто откажется помочь товарищам?

— Пошли... Холодно, хоть подраться, что ль... Братишки, неужели ж мы?.. Да что там!..

Приплясывая, круг разошелся. Терли снегом руки.

— На-ас нелегкая-а-а не-есла-а...

— А-а-а...

— Эх-да горы за-а-нима-а-ть...

— А-а-а...

Тихо, ровно, с сильной второй, песня брызнула по теням.

— Товарищ Ляшенко, первый взвод вперед, два пулемета и телефон.

— Есть.

Выделилась кучка.

— Товарищ Ляшенко, я иду с первым взводом, вы остан...

— Как? Что? Останьтесь, нельзя вам!..

Красноармейцы сгрудились, сбиваясь, кричали:

— Разве можно?.. Не пустим... Здесь остаться ему...

— Не пускай, товарищи!..

Гикало:

— Товарищи, я должен итти.

— Нет, нет. Мы, а потом вы.

И взвод пошел с Ляшенко.

Черная жилка телефона побежала за ними...

Ушли. Мелькнули призрачно тени—и тихо. Ветер все гонит струйки.

Сбились кучей красноармейцы. Сидят на снегу, молча курят...

Гикало у телефона и слушает ночь.

Через полчаса стукнули глухо выстрелы. Стихло, и вновь глухая дробь рассыпалась в ночном шорохе.

Отряд встал и напряженно слушал.

Запищал телефон.

Сжал Гикало трубку:

— Штаб слушает...

— Сбили посты... Взяли два пулемета... Продвигаемся дальше...

— Пришлите подкрепление...

— Хорошо... Подкрепление выслано...

— Второй взвод — на позицию!

Бегом сорвался взвод, тискает четко снег, загремел пулеметами.

Тра-та-та...

Глухо выбивает ночь, а ветер шуршит... Треплет шинель Гикало, а он стоит, поблескивает очками.

Пищит телефон:

— Сбили баталион... гоним... захватили орудие...

— Третий взвод на позицию!..

Сорвались остатки. Торопливо потянули орудие...

Наступали красноармейцы вприпляску. Холодно, а сталь винтовки согревала застывшие руки.

— Ура-а!!!

По широко разбросанным промыслам прыгали огни и гулко рассыпалась дробь:

— Тра-та-та...

Бежали казаки. Им в спину посылали задорные залпы... Выкатили орудие. Зарядили... Под горою блестели огни... Город...

— Вот он... Эх, вы, в кадетов мать...

— Наступать бы... Бегут белые...

— Перепугали их... страсть...

— Пальцы потерял.

Подошел Гикало.

— Дальше итти нельзя...

— А хорошо вдарить по ним, братишки, а?!

— Товарищ Ляшенко, из орудия в город...

Маленькое, „шамилевское“, орудие злобно дернулось и грохнуло. Снаряд с ревом, гулом рванул воздух... Где-то разорвался...

Начинало светать...

Огни погасли в городе.

Хмурое утро. Заводы, трубы.

Низкая, грязная окраина. Безлюдье

В городе тихо.

Гикало стоит, поблескивает очками. Тяжелая морщина легла на лбу...

В городе тихо А день ползет.

На окраине ожило. По многолюдью, размеренному движению видно, что солдаты...

Через полчаса отряд вновь спустился на плоскость.

По вьюжным, морозным снегам тянулся устало назад...

V.

Снова вечер. Ветер стих. Вызвездило.

Снег хрустит под усталыми, обмороженными ногами.

Судорожно выбивается отряд из снегов плоскости. К горам, к ближайшему хутору, к гостеприимным, теплым саклям.

А тело обмякло, бессильно клонится на снег.

Единственная лошадь отряда подбирает отстающих. Провезет с версту, глядишь, уже кто нибудь свернулся на снегу.

Слезает отдохнувший, взваливают ослабевшего.

Маленькое орудие безмерной тяжести. Упираются колеса в хрупкий снег. Бросает бескостное тело...

— Не могу, братишки...

Свертывается красноармеец в лохмотьях. Разбросались руки. Винтовку подмял под себя.

Медленно проползает мимо отряд.

— Братишки... Поддержите... Замерзну...

Устало бредут тени...

Ушли. Маячат в сумраке над снежным полем.

— А-а... не бр... бр...

Подымается. Качается и вновь тяжело падает...

Подходит кто-то. Сильно подымает.

— Ну, что, товарищ? Устал?

Винтовку поднял и поддерживает дрожащее тело.

— Ну, держитесь... Идем...

— Товарищ Гикало... не надо... Ступайте... вам опасно...

Слабо отталкивается...

— Я сам...

— Ну, что вы! Держитесь и не разговаривайте...

Бредут две тени. Плотно прижались, в сумраке призраком маячат...

Ночью дотянулись до хутора. Гостеприимные чеченцы с криком, говором встретили гостей. Торопливо разобрали по саклям.

Жарко топили печи... Стелили по нарам войлоки, шкуры.. Салом растирали вспухшие ноги...

В штабе тепло и тихо. Гикало лежит на нарах. Глаза ушли под лоб.

Чеченец сидит у дверей, смотрит на гостей...

Затихло в хуторе. Изредка брехнет собака на звезды.

— Что же случилось в городе?

Гикало зашевелился и сел.

Чеченец принес поднос с кусками горячего „цицкаля“ *) и мясом...

— Если провал, то... А как отряд?

Ляшенко подсел к мясу и расправил усы.

— Отряд на неделю весь вышел из строя... Разуты — поотморозили ноги...

— А если завтра опять итти?

— Не дойдут... Сейчас был в первом взводе — все лежат...

В окно ворвался бешеный вой собак. Вначале вдали, затем ближе, ближе... И топот всадника...

Чеченец выбежал из сакли.

Топот затих под окном. Собаки злобно метались по двору.

— Даяль... Даяль... И-и дель — на **).

Распахнулась дверь, и вошли двое — хозяин и другой, приехавший.

— Издрасть, здрастя Гикаль...

Быстро сел.

— Гикаль... мой из города... шибко мой ехал... Лошадь порпал... Город мужик тюрьма пошел, сичас большой война есть...

Гикало замер и медленно повернулся к нему. Пятна заходили по скуластому лицу. Глубже ушли под лоб глаза.

— Что, какие мужики?

— Мужик из тюрьма есть, знаешь? Эт мужик тюрьма долой, война казак пошел...

Чеченец вскочил.

— Мало-мало иди сюда.

Вскочил во двор.

Гикало, Ляшенко быстро вышли за ним.

— Слушать надо, Гикаль.

Сжали дыхание, напряженно слушали тишину.

Вздрагивает чуткий морозный воздух:

— У-у... Ух.. у-у...

— Там бой... — прошептал Гикало.

Медленно вошли в саклю.

Гикало лег на нары. Руки под голову, и замер...

— Два часа мой шибко ехал... Мужик карапчил пушк четыре, пять... Казак порпал теперь...

И зашептал по-чеченски хозяину. Подсел к подносу и быстро глотал куски мяса...

---

*) Кукурузная лепешка.

**) Долой.

— Товарищ Ляшенко, их, конечно, перебьют... Они будут бежать сюда, в Чечню... На Воздвиженку... Если нас там не будет, старо-атагинцы их будут ловить и передавать казакам...

Ляшенко сердито кусал ус.

Гикало сел.

— До Воздвиженки 12 верст... Мы сейчас туда должны выступить...

— Я хоть сейчас и куда угодно... А отряд?..

— Ступайте, скажите им, в чем дело... Кто не может итти, пускай остаются, остальные пойдут...

— Слушаю-с...

Через полчаса отряд вышел из хутора. Орудие тянут две лошади.

— В отряде сто человек, товарищ Гикало... Остальные не смогли.

И вновь по снежной плоскости идет отряд. Торопливо шагают. Молча. Лишь окрики и звонкая ругань...

На рассвете отряд расположился в Воздвиженке.

К вечеру же подошли первые беглецы из города.

Восстание подавлено.

. . . .

Через неделю в Дочь-Борзой агент Никита пишет из города:

„Я отправился счасже к т. Гикале Воздвиженку. Гикало мине дал наказ: поезжай в город и узнай что там делается. Я приехал ночью в город, видел чюднаю картину, кто был привязан за шею, кто был прибитым гвоздями на телефонных столбах, а кто висел кверху ногами. Я ужаснулся“.

Примечание. После поражения XI-й армии 1919 г. и введения Деникинских порядков в горских аулах, оставшаяся масса преследуемых белыми красноармейцев и недовольные белыми горские народы Сев. Кавказа организуются в партизанские отряды, которые часто сходили с гор и серьезно тревожили белый тыл. Руководителем этого движения был т. Гикало Н. Ф., об одном из отрядов которого идет речь в данном отрывке.

Задачи: *1. Роль горцев в борьбе за освобождение Кавказа (Северного). 2. Определите и объясните, что это: повесть, мемуары, дневник или иное что; на конференции ответьте на поставленные вопросы.*

СЛОВАРИК.

Арба — двухколесная телега у кавказских горцев.
Аул — горское селение.
Сакля — хижина, землянка.
Кунак — приятель.

ЧЕРНАЯ ОРДА.

(Из книжки Г. Виллиама „Распад добровольцев").

Главная улица в Новороссийске—Серебряковская. Приблизительно по средине этой лучшей, но тем не менее достаточно нескладной и неприглядной, улицы, находилась бойкая кофейная, называвшаяся „Кафе Махно". Здесь помещалась штаб-квартира спекулянтов, так называемой, „черной орды".

Орда была действительно черная: по духу и по колориту. Сильные брюнеты: константинопольские греки, налетевшие на охваченный гражданской войной юг, как воронье на падаль, армяне, евреи—преобладали, хотя, конечно, не было недостатка и в представителях славянской расы...

В „Кафе Махно" устанавливались цены на валюту, на товары, ценности, и оно до такой степени заменяло биржу, что с ним считались банки, а в местных газетах, в справочном отделе, котировки печатались под общим заголовком „кафе" так же, как в былые времена, печаталось: „фондовая биржа".

В обширной грязноватой зале, с большой печью посредине, с несколькими чахлыми пальмами в качестве единственной декорации, стояло множество убогих столиков, неприкрытых, заваленных крошками, залитых кофе. Освещалась кофейная плохо. Электричество часто не горело, и тогда, при свете стеариновых огарков, воткнутых в бутылки, она получала зловещий вид пещеры с пирующими разбойниками. Алчные, беспокойные, сверкающие взгляды, резкие телодвижения южан, лохмотья и шикарные костюмы,—все это еще больше увеличивало иллюзию. В воздухе всегда колыхалась синяя пелена табачного дыма и кухонного чада, и всегда, особенно в ненастье, была такая толпа и давка, около столов стояли такие очереди, дожидавшиеся, когда будет проглочен последний кусок, что бывать у „Махно" без дела бывало неприятно.

Столики обслуживались шикарными кельнершами, нередко блиставшими драгоценностями, доставшимися им бог знает откуда и какой ценой. Работая у „Махно" без жалованья, кажется, платя даже за обед и чай, барышни эти зарабатывали баснословные деньги. Герои тыла, с утра до ночи воевавшие за столиками—и, к слову сказать, наносившие добровольцам гораздо больший урон, чем большевики,—были щедры. Город сидел на диэте; у многих простой хлеб

и кусочек сала считались роскошью. С апломбом заказывая себе, стоющую бешеных денег, порцию сосисок с капустой, орда „держала фасон“ и, желая блеснуть широтою натуры, выбрасывала „барышням“ на чай крупные донские кредитки. Могильные гиены, стервятники разных величин чувствовали себя здесь, у „Махно“, баловнями счастья и демонстрировали это без стеснения.

„Юрко и Паника“, — нарицательное имя спекулянтов, определяли курс русской и иностранной валюты, скупали золото и драгоценности, скупали гуртом весь сахар, весь наличный хлеб, мануфактуру, купчие на дома и имения, акции железных дорог и акционерных компаний. Тут можно было приобрести разрешение на ввоз и вывоз, плацкарту до Ростова, билет на каюту на пароходе, отдельный вагон и целый поезд, специально предназначенный для военного груза на фронт. Здесь торговали медикаментами и партиями снаряжения, в бесплодном ожидании которого добровольцы вымерзали под Орлом и Харьковом целыми дивизиями.

В теплую, погожую погоду „черная орда“ высыпала из кафе на Серебряковскую. Почти напротив, в большом мрачном четырехэтажном здании находилось комендантское управление. На тротуаре против управления, днем, собиралась другая толпа: загорелые, дурно одетые, до зубов вооруженные офицеры, приезжавшие по делам и на побывку с фронта. Эти, обездоленные, истощенные походной и боевой жизнью, измученные тоской по голодным женам и детям, люди с нескрываемой острой ненавистью поглядывали на другую сторону улицы, где, словно угорелые, метались хищные, сытые фигуры. Слышалось иногда, брошенное вскользь замечание:

— Эх, поставить бы с обеих сторон Серебряковской по батарее да картечью...

Или:

— В шашки бы их, мародеров...

Из этого, само собой, не надо делать вывода, что среди „черной орды“ не было людей с офицерскими и генеральскими погонами, с металлическими венками на георгиевской ленте за знаменитый „ледяной“ поход; людей с золотым оружием и на костылях. Спекулировали в Новороссийске все: телефонные барышни и инженеры, дамы - благотворительницы и портовые рабочие, гимназисты и полицейские, священники и „торгующие телом“. Спекулировали старики и дети,

инвалиды на костылях и семипудовые толстосумы, последний нищий и первый богач.

Спекулировали даже и представители высшей гражданской и военной администрации. Однажды к нам в редакцию зашел секретарь одного высшего добровольческого сановника, почтенный генерал с Владимиром на шее:

— У меня пикантнейшая новость,— сказал он, присаживаясь к столу.—Только, пожалуйста, не для печати... Сегодня, по поручению генерала, составлен проект приказа о выселении из пределов города всех лиц, не состоящих на государственной или на общественной службе, приехавших после такого-то числа. Его высокопревосходительство внес в проект существенную поправку,— прямо, можно сказать, создал новый объект для спекуляции...

— Мой проект имел в виду исключительно спекулянтов: ведь, дышать от них нечем. И что же вы думаете? Генерал разрешил жительство прислугам лиц, состоящих на службе. Посудите сами, какая теперь пойдет купля-продажа всяких поварских, лакейских и прочих должностей. И без того вакханалия полнейшая!

***Задача.** Чем жили отступавшие с белой армией,— их настроение, деятельность.*

СЛОВАРИК.

Котировка — официальное установление на бирже курсовой цены ценных бумаг и товаров.
Колорит — оттенок, общий характер тонов картины.
Валюта — денежная единица — средство платежа.
Иллюзия — обман чувств, неправильное представление.
Диэта — соблюдение соответствующего образа жизни: пищевой режим.

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

(Из книжки Г. Виллиама — „Распад добровольцев").

... Однажды в Новороссийске произошел скандал: осрамилась государственная стража. Переодетый агент контр-разведки арестовал на базаре „зеленого". Вынул из кармана револьвер и приказал ему итти впереди себя. Зеленый повиновался, потом внезапно обернулся и уложил агента наповал: револьвер был у него, вероятно, в рукаве шинели. Зеленый, как и обыкновенно, был одет в английскую шинель и фуражку, как добровольцы. Поднялась суматоха, затрещали выстрелы;

многих ранили,—ведь толпа,—а зеленый исчез. Говорили, что стража не особенно стремилась задержать его, умирать никому не охота, ни зеленому, ни стражнику.

Узнало об этом начальство и устроило генеральную порку. Всех стражников с базара собрали в комендантское и приказали им перепороть друг друга шомполами. Своеобразная это была картина. Стражники, усатые, нередко пожилые люди, спускали штаны, ложились, получали свои двадцать пять шомполов и принимались на совесть драть своих палачей. Когда кончилась порка, им объявили:

— Завтра опять получите такую же порцию, если не доставите зеленого. Вы понимаете, что полицейский мундир замарали, вахлаки.

Вахлаки почесались и вышли. Двадцать пять шомполов—не шутка; да и мундир опять. Словом, они были задеты за живое.

На другой день зеленый был приведен, связанный и основательно избитый. Какой это был зеленый и был ли он вообще зеленый, это составляло тайну восстановлявших свою честь стражников. Начальству, конечно, было тоже все равно. Страже сказали, что они молодцы, а зеленого в тот же день судили и в ту же ночь повели расстреливать.

На суде зеленый держался удивительно хладнокровно, был вежлив с судьями и за смертный приговор поблагодарил—по традиции всех смертников. Члены суда решили, что он— „идейный“ большевик, и были довольны, что осудили, может быть, и не соответствующего, но все же безусловно опасного преступника.

На казнь его повели, связанного, десять человек. Утром они вернулись с „косы“—место, где расстреливали, на берегу залива,—и отрапортовали, что зеленый, пользуясь темнотой, бежал. Снова были пущены в дело шомполы; на этот раз безрезультатно. Стража стояла на своем: зги не было видно, напрасно только заряды потратили, стреляя в убегавшего. Дело было предано забвению.

Стража помалкивала. Честь полицейского мундира была восстановлена: зеленого они привели. А что убежал он, так что ж удивительного? Может быть, и был он вовсе не зеленый...

П р и м е ч а н и е. В настоящем отрывке дана бытовая картина глубокого тыла (Черноморское побережье) добровольческой армии 1919 г., когда фронт последней, под натиском Красной армии, катился все ближе и ближе к Азовскому и Черному морям, а офицерство в тылу

занималось расстрелами, пьянством и грабежами по крупным городам, не показывая носа в села и станицы, где недовольные деникинскими порядками крестьяне организовались в красно-зеленые партизанские отряды и делали налеты на города, довершая этим развал и деморализацию тыла.

СЛОВАРИК.

Вахлак (вахлай) — плохой работник, неотесанный человек.

„КРАСНЫЙ ДЕСАНТ".

Дм. Фурманов.

На Кубани, у пристани, стояли три парохода: „Илья Пророк", „Благодетель" и „Гайдамак". Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаскивались по 7, по 8 верст в час. На этих пароходах и на 4-х баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный десант.

Целый день до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продовольствием, что можно — починить... Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели, возясь с ней на песчаном скате: гремя и дребезжа врывались в говорливую сутолоку военные повозки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то неслышной команде подбегали кучи красноармейцев, живо взваливали на спины тугие мешки и, согнувшись дугою, качались на речных подмостках, пропадали в зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали подвое, а те что потяжеле, — и по-четверо: тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю, такова была команда „снарядов не бросать!" Но зато уж над хлебными караваями потешились вволю: их, словно мячики, перебрасывали из рук в руки, старались друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте. А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках, над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили:

— Эка буря поднялась, одежду рвет!.. — кричит один.

— Плыви скорей, что смотришь? — горланит другой.

А третий, показывая на лодку, смеется:

— Эй, ударь веслами, попытай счастья!..

И после этого случая ребята поснимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде — пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными, стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе, — и эти новые также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливой пасти парохода. Вездесущие торговки продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки, юркие и горланистые, шныряли повсюду и предлагали нараспев папиросы; шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала. Потом каждый разносил по городу вздорные слухи, уверяя, что видел все „своими собственными глазами". Были тут, как это водится, и шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких, по виду шумных, открытых — и в то же время совершенно секретных приготовлений: что за суда, кого, куда и зачем они везут, — этого не знал никто. Тайну мы не раскрывали целиком даже командному составу, даже ответственным работникам.

Конспирация в нашем деле была крайне необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснодаре — она через несколько часов опустилась бы в улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий „узункулак". (Так называется у киргиз Семиречья обычай — всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку *). Получил киргиз весть — вскакивает на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам — и, в результате, за короткое сравнительно время, вся пустынная и дикая округа оповещена). Если бы Улагай заранее узнал про красный десант — всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас — не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов: речные мины, десятка два пулеметов в камыши, да два — три орудия, взявшие на картечь, — вот и могила десанту: в узкой реке трудно было бы спастись.

---

*) Селение.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнающих. А бойцы — эти даже и не любопытствовали; разве только какой-нибудь курносый и веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:

— На подмогу? А?

— Известно, не против своих, — оборвет его недовольный сосед.

На этом разговор и кончается.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие, комсомольцы, партийно-мобилизованные — словом, такие ребята, с которыми можно было начинать любое трудное дело. Всего набралось 800 штыков, 90 сабель, десяток пулеметов да артиллеристы около маклеровского взвода и двух легких полевых орудий.

Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию: втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых, взмыленных коней.

Дожидались — не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами.

На баржи, на пароходы втащили подмостки, побросали грязные, мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили. Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, солдатские сумки, — в самых разнообразных позах расположились бойцы: грудно, шумно весело.

На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему 18 лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умные. Он хорошо умеет играть на гитаре, легок на ноги, отлично пляшет и поет звучно, широко и свободно. Ганьку из комсомола хотели направить в студию, — развивать свои таланты, да тут вот приплыл Улагай — не до ученья, надо итти воевать. Он даже и не раздумывал над тем — итти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев, он записался одним из первых и ни на секунду не знал колебания, —

наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг напрягся в ожидании чрезвычайных, удивительных событий. Он на фронте еще не бывал никогда и представлял себе это фронт совершенно фантастически.

Ганька молчал, плевал на воду и любовался, как крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую творожную слюну.

Позади Ганьки, на корточках, сидел матрос Леонтий Щеткин. Глаза, как у совы, круглые, водянистые, когда надо—добрые, а когда и жестокие. Острижен наголо; широкая открытая грудь загорела, как медный таз. Щеткин молча озирался кругом, пускал залпами махорочный дым и долбил себя кулаком по колену...

Около самых его ног, на куче сена, покоилась черная кудрявая голова Танчука, лихого наездника, красивого, бледнолицого белорусса. Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его пегий конь, именем „Юсь“.

Отчего он назвал его „Юсь“—и сам объяснить не мог, но уж, верно, потому, что, когда он произносил часто „Юсь-юсь-юсь“—получался свист, и это ему нравилось: он начинал прихлопывать, притопывать и высвистывать плясовую. Дважды раненый „Юсь“ неоднократно спасал жизнь своему бледнолицому седоку и уносил его даже от быстроногих казацких коней.

Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбузную корку, сопел и отплевывал в сторону.

Рядом стоял эскадронный, по фамилии Чобот,—высокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в конец по широкой Руси, нескладная семейная жизнь—ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так вот открыто льется на волю и сквозит во всем: в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему-то улыбался — верно, своим мыслям — и смотрел по Кубани.

Тут же был веснушчатый, желторотый Коцюбенко. Жиденький, маленький — он словно вростал в землю и становился еще меньше, когда начинал что-нибудь говорить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был болен чахоткой.

Лечился, но мало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, становился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торопился во всем перекричать, но как-то невинно, как-то незлобно — и на это никто не обижался. Когда он силился „громыхнуть", как острил про него огромный Чобот — все невольно притихали, а на лицах появлялась терпеливая, снисходительная улыбка.

— Ишь, чорт, не балуй! — крикнул Танчук, увидев, как „Юсь" прицеливался укусить соседа-мерина.

„Юсь" остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул два—три раза теплыми шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

— То-то, — объявил торжественно Танчук.

— А што — „то-то?" — спросил усмешливо Чобот.

— Не видишь? Слово понимает...

— Ну вижу: стоит, как стоял, — поддразнивал Чобот.

— Грызть хотел, ерыга...

— Все чего-нибудь хотят, — философически брякнул Щеткин.

На минуту все замолчали.

— Товарищи, — обернулся к ним Ганька, — а верно, что лошадь привыкает к хозяину и понимает, што он ей говорит, правда? А?

— Так вон, хоть бы сичас..., — начал бы Танчук.

— Ясно, — прогремел Чобот, перебивая его. — Иной скажешь, дескать, посторонись-ка, а она и жмакнет тебе копытом в ногу... Все понимает, да еще как...

— Нет, товарищи, понимает, — вмешался Коцюбенко, — только кормить надо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жеребец — одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку прогрыз, мясо вырвал... Один отец ходил — с ним как ягненок...

— Кто кормит, тот любит, — поддержал его Ганька. — А любовь все понимают. Поди-ка пни лошадь ни за што, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет... А холку потрепли, — замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

— Непременно так, — поддержал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого-то, видимо, искала.

— Ай, Дуня-Груня! — крикнул Чобот, — не видишь, что-ли?

Девушка улыбнулась и шла дальше...

— Хоть платочек на дорогу подари,— смеялся он.

— И глядеть-то не хочет,— ввернул Щеткин.

— Тебя видит, пугается...— бросил Чобот.

— Сам-то хорош, кобыла березовая...

Все рассмеялись.

— Ганька,— сказал Коцюбенко,— хочешь гармошку принесу,— петь будешь?

— Чего же не петь, буду,— согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью. Сел на бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голоса, тянул ноты, мырлыкал что-то про себя, брал всевозможные аккорды.

— Ну, што?— вытянулся он вопросом к Ганьке.

— Што хочешь...

— Давай — „За острова на стержень“...

— На стрежень,— поправил Ганька,— только помогать, один не стану.

— Начинай,— согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и приноравливаясь, потом громче, громче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям — волнам Кубани.

Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это дела не портило. Пока Ганька запевал — Коцюбенко притихал, вслушиваясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход — было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину куплета и не давали Коцюбенко проявить себя, как следует... Уж вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне... Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

„Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...“

Бурею вырвались грудные, сильные голоса:

„Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...“

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы — незаметно, бесшумно, без свистков — снялись с места, отчалили от берега, потянули за собою баржи...

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы. Лесу нет — кругом идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена — это болота; порою встречаются камышевые заросли; но здесь их еще немного — они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана — вокруг него ютятся, как пасынки,— мелкие, корявые, уродливые кустарники...

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали; вместо них остались по краям какие-то однообразные, смутные полосы: ни трав, ни камышей, ни кустарника — не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собачонка перед сердитым хозяином, юлит и кружится во все стороны моторная лодка: ей дана задача все видеть, все слышать, знать все, что ожидает впереди, а главным образом, высматривать — нет ли попрятанных мин.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями; надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в 70—80-ти от Краснодара, если считать по воде. В Славянской — наши; берега, следовательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем, это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потаенные дорожки и камышевые тропы, часто заскакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни стрельбы, ни шума. Только слышны всплески воды под колесами пароходов, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов — люди спустились в каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, и курили одну цыгарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг к другу,— спят красные бойцы. Сопят и храпят вперегонки: закрыв глаза, чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва ли слышно на берегу.

Все дальше и дальше плывет наш красный караван.

Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучу руководители отряда и совещались о необходимых

мерах предосторожности. Тут был начальник, Ковтюх, имя которого неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию по горам и ущельям он выводил в 1918—1919 году из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань, отлично знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской,— он за время гражданской войны потерял и все то немногое, что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во вражий тыл, надо проделать не только смелую — почти безумную операцию. Кого же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь, большие рыжие усы словно для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит — командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слух, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полулегендарными героями. Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник — Ковалев. Ему перекосило от контузии лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву — сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был поранен: не то 12, не то 15. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек — не понять. Худой, нездоровый, с бледным измученным лицом, обрамленным мягкой шелковистой бородой,— он представлял собою образец истинного воина: по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному мужеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою — такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоющем внимания. Таких Ковалевых — чут заметных, но подлинных героев — много в Красной армии. Но они всегда скромны, о себе молчат, на глаза начальству не лезут — и остаются в тени.

Против Ковалева — командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такой твердости, такой настойчивости можно позавидовать: кремень — не человек. А посмотреть — словно козел в шинели, да и голос, как козлиный: дрожит, дребезжит, рассыпается горохом.

Были еще 2—3 командира. Совещались недолго: почти все было решено и придумано еще днем.

Части десанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же была должна загромыхать артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице могли нам оказать стойкое сопротивление, в виду своей достаточно высокой боевой доброкачественности (малонадежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка, Алексеевское и Константиновское военные училища и Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был расположен главный штаб улагаевского десанта со всеми своими разветвлениям и другие, более мелкие, штабы и тыловые учреждения. При всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения: Новонижестеблиевская была у нас на худом счету.

Около 7 часов утра, когда части вплотную подошли к станице,— раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель, не понимая в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать, и тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который понял бы мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе отчетливо—как и с чего следует начинать сию же минуту. Паника усиливается обычно множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает другой, запутывает дело. Именно в такой стадии бесплановго метания находился теперь неприятель. Но уже были первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду итти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него также широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого беспощадного хищника. У Щеткина тяжелая поступь; он словно и не идет, а по заказу трамбует землю. Около него итти спокойно—родится какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился, как следует, что не нашлась еще могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в стройные, упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду из сараев, из халуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам сбегались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже развертывается, принимает форму. Еще минута и мы встретим стену стальных штыков, море огня—меткого, уничтожающего...

— Ура!—проносится по нашим рядам...

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать, кто куда. Иные все еще продолжали стрелять... Почти все побросали винтовки и стояли, ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щеткин.

Вдруг от плетня отделилось человек 50 и кинулось нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад передовую нашу

цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:

— Вперед, ребята, вперед, ура!..

И рванулись, как бешеные, красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их под себя — дальше ничего не было видно...

Когда эта полусотня кинулась от плетня, — те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали: они стояли и ждали пощады с высоко вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошеное оружие собрали, сложили в груду, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые — стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти 50 — 60 белых солдат были частью офицерами, частью алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальных пленных погнали к баржам...

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду, Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло лихое дело в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посредине сада к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгородей — всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней, проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками и дальше по аллее залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугун с похлебкой, — поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду: с самого утра во рту не было „маковой росинки". Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе: похлебка брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда — ложек нет: двух паршивеньких, оглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной, только что построганной, лопаткой заплескивали из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили начистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести демонстративную атаку, а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им поползти в глубь станицы и в 12 часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар,— кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по несколько залпов, должны громко кричать „ура“, но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина—и у нас тишина и у неприятеля. В такую темную ночь трудно было ожидать атаку. Люди, казалось, ходили на цыпочках.

Разговаривали шопотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы—это наши поджигатели метали бомбы... Что случилось через мгновение—не запечатлеть словами. Ухнули разом батареи, пулеметы заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое-то ледяное, безумное „ура“ вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. „Ура...ра...“—катилось на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кавалерийский эскадрон и довершил картину. При зареве горящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые заметавшиеся люди казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно: открывал пальбу, но не видел своего врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица была полностью очищена. Неприятель за окраиной распылился по плавням и камышам; только на утро собрался с оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело — стали собирать и отправлять на баржи трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в станицу красная бригада — ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Примечание. 14-го августа 1920 года, по соглашению с эвакуировавшимися в Крым белогвардейскими правительствами Дона, Кубани, Терека и Астрахани, в надежде на всеобщее восстание казачества Кубани против Совласти и соединение с белогвардейскими бандами ген. Хвостикова, ген. Врангель высадил на отмелях близ Ахтарей, что в 65 верстах южнее Ейска, десант в составе 8.000 штыков и сабель при 17 орудиях и 143 пулеметах под командованием ген. Улагая.

Захваченные врасплох и за недостатком сил части Красной армии первоначально отступали и дали возможность десанту захватить ст. Тимошевскую, что было значительной угрозой и Краснодару. Положение белых скоро резко изменилось: казачество не пошло на обещания Врангеля, не поддержало десант, а Красная армия быстро начала стягивать силы из Закавказья и были проведены партийная и профессиональная мобилизации. Врангелевцы были отброшены в болотистый район Ачуева, Нижестеблиевской и Петровской, где лобовой атакой было очень трудно их разбить, поэтому и была предпринята описываемая в настоящем отрывке десантная экспедиция в тыл белых, закончившаяся полной над ними победой.

Вопросы — задачи. *1. Разбейте статью на части и придумайте заглавие к каждому отрывку. 2. Приготовьтесь к устному пересказу. 3. Охарактеризуйте Ковтюха, Ковалева, Чобота, Ганьку.*

СЛОВАРИК.

Десант — отряд, высаживаемый с судна на берег для военных действий.
Конспирация — сохранение тайны.
Ядреный — крепкий, бодрый.
Ерыга — бездельник, пьяница.
Жмакнуть — ударить.
Трамбовать — уколачивать, уминать (землю).
Эффект — сильное впечатление, результат воздействия.
Стрежень — середина, глубина, быстрое течение.

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ.

Родился в 1894 г. в Одессе, на Молдаванке, сын торговца еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, библию, талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал в школе. Школа называлась Одесское коммерческое училище. Школа эта не забываема для меня потому, что учителем французского языка был там М. Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку; я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил; пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом после окончания училища я очутился в Киеве. В 1915 г. в Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было „правожительства“, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного пьяного оффицианта. Тогда в 1915 г. я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали; все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 г. попал к Горькому. И вот—я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке „Летописи“ за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.). Потом, когда выяснилось, что два—три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит и что пишу я удивительно плохо,—Алексей Максимович отправил меня в люди. И я на семь лет—с 1917 по 1924—ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 г., в Северной армии против Юденича, в 1-й Конной армии, в Одесском губкоме, был репортером в Петербурге и в Тифлисе, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе и проч. И только в 1923 г. я научился выражать

мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять. Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 г., когда в 4-й книге журнала „Леф“ появились мои рассказы „Соль“, „Письмо“, „Смерть Долгушова“, „Король“ и др.

ПИСЬМО.

И. Бабель („Конармия“).

Вот письмо на родину, продиктованное мне Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

„Любезная мама, Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли... (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев... Опустим это. Перейдем ко второму абзацу).

Любезная мама, Евдокия Федоровна Курдюкова! Спешу вам писать, что я нахожусь в красной армии тов. Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия Цик, Московская Правда и родную беспощадную газету — Красный Кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама, Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Кажные сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежи, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит.

Могу вам писать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы видать мало, и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здеся растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонят самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Апанасенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали,—то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен, и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федора резать, говоря—шкура, красная собака, сукин сын и разно и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеичь не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы материны дети, вы ейный корень, потаскухин, изведу я за правду свое семя и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Исус Христос. Только в скорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Апанасенки. И наша бригада получила приказание итти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, ноганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать любезная мама, Евдокия Федоровна, что это город очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивы, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, и я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать, то Семен Тимофеич может вполне его зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было

видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер, так что он сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе в вольной одеже, так что никто из жителей не знал, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себя окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и прибегли двести верст — я, брат Сенька, желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленных, мы сами будем его судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, и также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофею Родионовичу воды на бороду и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказали папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказали папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказали папаша, — не думал я, что мне будет худо.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если я попадусь к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать.

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен

Тимофеич услали меня со двора. Так что я не могу любезная мама, Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончили папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля того мы получили стоянку в городе Новороссийском. За этот город можно сказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставалися до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков.

Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит".

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил — он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец был у меня кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь, вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижимый, скуластый, с сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученьи, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

Вопросы — задачи. *1. Охарактеризуйте Курдюкова. 2. Вчитайтесь в язык письма. 3. Для какого слоя населения характерен этот язык. 4. Прочтите „Конармию“ Бабеля и найдите там элементы стилизации речи. 5. Есть ли в рассказе моменты комического и чем они создаются. 6. К какому литературному жанру можно отнести „Письмо“.*

СЛОВАРИК.

Экспедиция — учреждение, занимающееся отправкой книг, журналов и газет.
Режим — форма государственного управления в стране.
Кобель — пес.
Шляхта — польское дворянство; здесь—вообще поляки.

ОБРАЩЕНИЕ

рабоче-крестьянской молодежи Закавказья и Северного Кавказа к Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, Совету Народных Комиссаров, Коммунистическому Интернационалу, Красной Армии и Центральному Комитету Российского Союза Коммунистической Молодежи.

Товарищи! Мы, пролетарская рабоче-крестьянская молодежь Кавказа, в момент полного торжества советского оружия, когда уже и до нас доносятся звуки победного марша героической армии российского пролетариата и крестьянства, шлем вам наш горячий, братский привет.

Вся рабоче-крестьянская молодежь кавказских народов, вместе с трудящимися массами, преисполнена уверенностью в своей победе, видя ваши революционные подвиги на фронтах гражданской войны и на фронтах труда.

Мы до сегодняшнего дня остаемся рабами, во власти своих и чужих хищников-капиталистов.

Уже два года нас предают меньшевистская партия Грузии, азербайджанская партия „муссават“ и армянская партия „дашнакцутюн“. Два года мы закабаливаемся то империалистической Турцией, то Германией, а в последнее время Антантой, возмутительно и беззаконно вмешивающейся в наши внутренние дела.

Мы неоднократно стремились свергнуть наши подлые, вероломные правительства, продающие наши пролетарские интересы акулам англо-французского империализма, мы напрягали все усилия освободить наш край от ига европейского капитала, мы честно и самоотверженно боролись с изменниками трудящихся масс и стремились воссоединиться с вами, с нашими братьями — российскими рабочими и крестьянами, первыми поднявшими знамя мировой пролетарской революции.

В момент, когда черные банды Деникина вышли на дорогу к красной Москве, в тяжелую минуту для красного фронта, мы не остались безучастными зрителями, зная, что ваше поражение явилось бы крушением чаяний и надежд рабочего класса всех стран и народов — и мы восстали с оружием в руках, с расчетом на неудачу. Восстали, чтобы создать угрозу тылу Деникина и тем самым придти на помощь вам.

Нас подавили...

Теперь Красная армия, добивая остатки деникинских белогвардейцев, подходит к нашим границам.

Мы не можем далее оставаться рабами, особенно теперь, когда рядом с нами — победивший пролетариат России. Мы хотим вступить в единую пролетарскую интернациональную семью. Мы, рабоче-крестьянская молодежь Кавказа, вместе с нашими старшими братьями и отцами, в тяжелых условиях изнываем в длящейся борьбе. Вот уже два года над нами систематически издеваются палаческие правительства закавказских республик. В темницах томятся наши братья и отцы. Не видали мы еще после падения царского самодержавия светлых дней.

Теперь, когда вы близки от нас, подайте братскую руку помощи. С этим и обращается вся рабочая и крестьянская молодежь Закавказья и Северного Кавказа.

Помогите нашим отцам и братьям в их тяжелой борьбе.

Ускорьте нашу победу.

Мы обращаемся к вам, молодые рабочие и крестьяне Советской России. Вам знакомы те условия, при которых живем мы здесь. Они хуже тех, которые переживали мы во время царизма и власти империалистической буржуазии.

Рабочая молодежь, беспощадно эксплоатируемая, лишена всякой свободы. Наоборот, она не может поднять своего голоса за свои профессиональные интересы.

Союзы рабочей молодежи загнаны в подполье.

Крестьянская молодежь переносит необыкновенные мучения под властью господствующих дворян, помещиков и кулаков.

Молодежь насильно загоняется в казармы. Живет каторжной жизнью времен Николая-самодержца.

Молодые коммунисты беспощадно арестовываются и избиваются агентами местных правителей социал-палачей.

И все это в „демократических“ республиках. В то время, как мы и наши отцы гнием в затхлой атмосфере заводов и фабрик, добывая кусок хлеба, лишенные какой бы то ни было свободы, наши правители, буржуазия и буржуазная молодежь пируют, погрязши в разврате и безумном веселии.

Вы, пролетарская молодежь торжествующей пролетарской России, должны внять нашему зову и вместе с вашими старшими братьями, подав нам руку помощи, освободить всех трудящихся Кавказа.

С каждым часом наши дни все чернее и чернее. Вся оставшаяся деникинская свора хлынула волной к нам. Здесь гостеприимно она принята нашими правительствами. Звон бокалов не перестает давать знать о трогательном единении деникинцев, меньшевиков, дашнаков и муссоватистов, т. е. черной и желтой контр-революции.

Дальше терпеть мы не можем, мы верим, что настанет конец этому издевательству и недалек тот час, когда мы, рука об руку с вами, дорогие товарищи и братья, вступим в новую жизнь всеобщего труда и пойдем по пути к осуществлению заветной мечты угнетенных всех стран — к коммунизму.

Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика!

Да здравствует рабоче-крестьянская революция на Кавказе!

Да здравствует Коммунистический Интернационал!

Да здравствует красная молодежь Советской России!

От имени всех организаций рабоче-крестьянской коммунистической молодежи Грузии, Азербейджана, Армении и революционной молодежи народов Северного Кавказа.

Закав. Област. Ком. Росс. Коммун. Союза рабоче-крестьянской молодежи.

СЛОВАРИК.

Дашнак, дашнакцутюн — армянская национальная партия в Турецкой Армении и на Кавказе.

Муссоватист — татарская национальная партия в Азербейджане и на Кавказе.

„ЦЕМЕНТ".

Ф. Гладков.

Так же, как три года назад, в этот утренний час море за крышами казарм и аркадами завода кипело горячим молоком и осколками солнца, а воздух между горами и морем был винный, в огненном блеске. (Март еще не кудрявился в зарослях). И голубые трубы, и железо-бетонные корпуса завода, и рабочие домики Уютной Колонии, и ребра гор в медной окалине плавились в солнце и были льдисто-прозрачны.

Три года, а будто вчера: ничто не изменилось. Эти дымные горы в отеках, оползнях, каменоломнях и скалах — такие же, как были в детстве. Издали видны знакомые разработки по склонам, бремсберги в камнях и кустарниках, мосты и

лифты в узких ущельях. И завод внизу — тот же: целый город из куполов, башен и цилиндрических крыш, и та же Уютная Колония по склону горы, над заводом, с чахлыми акациями и двориками в две квадратных сажени у каждого крыльца.

Если войти в пролом бетонной стены, отделяющей заводскую территорию от городского предместья (была калитка, а теперь — пролом), во второй казарме — квартира Глеба.



Новороссийский цементный завод „Пролетарий".

Сейчас встретит его жена Даша с дочкой Нюркой, вскрикнет и замрет на груди, потрясенная радостью. Она, Даша, не ждет его, и он не знает, в какой переделке она была без него за эти три года. Нет в Республике троп и дорог, не смоченных человеческой кровью: прошла ли здесь смерть только по улице, мимо рабочих конур, или в огне и вихре разметала и его гнездо.

Шел Глеб в густом винном блеске, по дорожке, по склону горы, через охапки еще зимних кустарников и кизила в желтых искрах цветения, и чудилось: поет и стрекочет воздух, и воздух — в перламутровых крыльях.

За стеной, в пустыре, играли чумазые детишки, бродили и глодали кусты и акации пузатые козы со змеиными глазами.

А петухи изумленно вскидывали навстречу ему красные головы в сердитом окрике:

— Эт-то кто такой?

И в сердце, полном крови, слышал Глеб, что и горы в развалинах каменоломен, и трубы, и рабочий поселок гремят глубоким подземным грохотом... Завод. Дизеля. Бремсберги. Цехи. Вращающиеся цилиндры печей.

С горы видно, как между пепельными корпусами завода стекают вниз к морю, к пирсам, триумфальными арками, в виде гигантской буквы Н, бетонные устои канатной дороги. Струнами натянуты между ними стальные канаты с застывшими в полете вагонетками, и под ними — ржавым потоком железная кисея предохранительной сетки. И там, на конце каботажа, над ажурной башней, — распластанные крылья элекрического крана.

Хорошо. Опять — машины и труд. Новый труд — свободный труд, завоеванный борьбой — огнем и кровью. Хорошо.

Девчатами кричат и смеются вместе с детишками козы. Нашатырная прель свиных закут. И бурьян, и улочки, засоренные курами.

Почему — козы, свиньи и петухи? Раньше это строжайше воспрещалось дирекцией.

Бетон и камень. Уголь и цемент. Шлаки и гарь. Ажурные вышки электропередач. Трубы выше гор. Бесчисленные струны проводов. И тут же — животина мужиковских хлевов. Чортовы хлопцы. Они деревню притащили за хвост, а она плодится здесь плесенью.

Навстречу, по дорожке, шли гуськом из Уютной Колонии три бабы с барахлом под мышкой. Впереди — старуха облика бабы-яги, а две позади — молодые, босяцкого виду: одна — вся пухлая, грудастая, и лицо неудержимо дрожит от смеха, а зубы не закрываются губами; у другой — глаза красные, и веки красные, набухшие водянкой, а на лицо козырьком натянут платок — плачет или больная.

Сразу узнал: старуха—жинка слесаря Лошака; задняя, цветущая смехом,— жинка слесаря Громады, а средняя — чужая, не видел ни разу.

Поровнялся с ними, сошел в бурьян и козырнул по-военному.

— Здравия желаю, товарищи женщины!

А они, бабы, поглядели на него, будто на зловредного бродягу, и поодаль, замкнуто, обошли его тоже бурьяном. И только задняя — смеюнка — хохотнула испуганной куркой:

— Ну, ну, проваливай мимо. Много вас, чертей, барбосит: не наздравствуешься разом...

— Что вы, чортовы бабы? Не узнали меня, что ли?

Старуха Лошака угрюмо (так глядят старые ведьмы) лизнула белками по Глебу и басом сказала не ему, а себе:

— Да это ж — Глеб! Свалился ненароком с того света, неладный...

И пошла спокойно и угрюмо своей дорогой.

А жинка Громады засмеялась и ничего не сказала. Только издали, от самой стены, оглянулась, остановилась, рассыпалась крикливой сорокой:

— Торопись, мужик, до жинки. Коли потерял — найди, а найдешь — поженитесь...

Глеб поглядел на баб и не узнал в них прежних приветливых соседок. Здорово, должно быть, потрепала жизнь заводских рабочих баб.

Та же оградка у дворика в две квадратных сажени и тот же в улицу сортир будкой. Только покарежило ограду и время, и зимние норд-осты, и сизая шелуха зашелудивила доски. А взялся за калитку — весь остов ограды рыхло закачался.

Вот сейчас с криком выбежит Даша. Через разлуку в три года как встретит она его, пришедшего из огня и смерти? Может быть, она считает его погибшим или забывшим ее навсегда, а может быть, ждет его каждый день, с того самого часа, когда он оставил ее одну с Нюркой в этой каморе и невидимкой ушел во вражью ночь.

Бросил шинель на бетон у ограды, во дворике, рассупонил плечи от сумки и тоже бросил ее на шинель; и рядом с сумкой шлепнулся шлем с красной крылатой звездой. Постоял, вскинул раз за разом плечи к ушам, помахал в круговорот руками (надо размяться и успокоиться), и после каждого взмаха вытирал пот с лица рукавом гимнастерки, но никак не мог вытереть, будто не лицо, а решето. Поглядывал на крылечко, где дверь скрипела ему загадку в черную щель изнутри.

И только что смахнул с плеч гимнастерку и опять вскинул круговоротом руками—заулюлюкала дверь и—

Дашка это или не Дашка?

Баба в красной повязке, в мужской косоворотке стояла в черном квадрате двери и смотрела на него крепким узелком бровей над переносьем, а в ресницах вздрагивало изумленье и вскрик. И когда встретила улыбку Глеба, разорвались и вспорхнули брови, и в глазах брызнули ручейки.

Дашка это, или не Дашка?

И лицо (родинка на подбородке и яблочком нос) и поворот головы в бок при пристальном взгляде — это она, Дашка. А все остальное (что не назовешь в одночасье) — чужое, не бабье, не виданное в ней раньше никогда.

— Даша, жинка... Ах ты, моя голубка!..

И шагнул к ней, шоркая ботами по бетону, и руки распахнул, чтобы уловить Дашу в охапку. И никак не мог удержать сердца и вздрагивающей гармошки на щеках.

А Даша, как стояла в дверях, на верхней ступеньке крылечка, как дрогнула от Глеба, так и застыла в порыве к нему и в борьбе со слабостью своей бабьей. И только смогла тихо пролепетать через вспышки крови в лице:

— Это — ты?.. Ой, Гле-еб!..

И в глазах, в черной глубине, огненной капелькой вспыхивал неосознанный страх.

А вот сгреб ее Глеб мужичьей и мужней обнимкой до треска косточек на спине, ткнулся колючим бритьем в ее губы — отдалась в его волю, и отшибло память дурманом.

— Ну, вот... ты жива и здорова, голубка... Ну, как — ждала меня, или гуляла вдовой?

А она не могла от него оторваться и все по-ребячьи певуче лепетала:

— Ой, Гле-еб... Как же ты так?.. Я и не знала, ой, Гле-еб...

Но то рванулось из сердца только в одном миге, и в этом миге почуяла Даша былую Глебову власть над собою.

И тогда (три года назад), когда она была домашней бабой и цвела невестой вместе с геранью на окошке, эта мужняя власть была сладкой и желанной, и было спокойно чувствовать себя безвольной и обреченной в его руках.

Но не успел Глеб сцапать ее всеми жилами, чтобы вскинуть ее на руки, как ребенка, и унести ее в комнату, как, бывало, в первые дни женитьбы, Даша твердо, мужской отмашкой сбросила его руки и с изумленной усмешкой взглянула на него исподлобья, сбоку, отчужденно.

— Что с тобой, товарищ Глеб? Не бунтуй — успокойся...

И сошла ниже, на одну ступеньку. Засмеялась.

— Ты очень разбушевался при мирной обстановке... Ключ остался в замке. Можешь вскипятить себе воду на керосинке — чаю и сахару нет... и хлеба нет. Зайди в завком и запишись на паек.

И опять сошла на ступеньку. Поглядывала на него и усмехалась утайкой, и в жухлом лице была чужая, не Дашкина, забота.

То — не обида, а — удар. Шел к человеку, а башкой ударился в стенку — и стыдно и больно. Руки еще были в распашку, и неудержимо дрожала улыбка на лице.

— Вот туда, к чорту!.. Каким же это разом? — товарищ... Вот покрыла с головкой, чортова жинка!

Даша уже сошла со ступенек и стала у калитки. И все смотрела на него из-под бровей и усмехалась.

Дашка это, или не Дашка?

— Я обедаю в городе, в столовой нарпита, а хлеб пайком получаю в Парткоме. А ты, Глеб, зайди в завком и зарегистрируйся на хлебную карточку. Два дня я не буду — командируюсь в деревню... А ты отдыхай с дороги.

— Да подожди... ничего не пойму... С какого же ты часа попала мне в товарищи?.. Хоть выскажи мне, в какую я попал переделку.

— А я — в женотделе... Разве не можешь понять?..

— А Нюрка?!. Где же дочка?

— В детдоме. Иди, отдыхай... Мне некогда, Глеб. Разговор у нас будет потом... Отдыхай.

И ушла споро и твердо, широкими шагами, не оглядываясь, и красная повязка на затылке упрямо дразнила его до самой стены, звала за собою и смеялась.

Глеб присел на ступеньку крыльца и сразу почувствовал, что он очень устал. И не от того устал, что прошел четыре версты от вокзала, а устал от этих трех лет и от этой непонятной, неожиданной болью ранившей его, встречи с Дашей.

Почему это необычайная грузная тишина? Почему воздух стрекочет крылато, и куриный шелест ползает по Уютной Колонии?

Не корпуса, а тающие льдины, и трубы голубеют стеклянными цилиндрами. На их вершинах уж нет копоти: сдули горные ветры, а на одной стрела громоотвода вырвана с корнем — бурей, ржой, человеческими руками.

Здесь никогда не пахло мужичьим навозом, а вот вместе с травой, ползущей с гор, гнилью зацвел пряный скотский постой.

В том корпусе, что сейчас под горой, — слесарный цех — трехсаженные окна в эти часы ослепительно пылали когда-то солнцем в бесчисленных переплетах рам, а теперь в разбитые стекла черной пустотой проваливается утроба.

И город за бухтой, на взгорьи, — тоже иной: поседел, покрылся плесенью и пылью, сравнялся со склоном горы — не город, а заброшенная каменоломня.

... Товарищ Глеб... Брошенная Дашей дверь нараспашку в пустую комнату... Потухший, забытый завод... Был рабочий завода — стал военком полка, герой Красного Знамени...

Петух подошел к ограде, задрал голову и посмотрел на него одним глазом, зло и нелюдимо.

— Эт-то кто такой?!.

И козы с любопытством мигали змеиными глазами и лопотали девичьими губами беззвучную чепуху.

— Ш-ша, подлая тварь!.. Перестрелю, будь ты трижды проклята!..

* * *

От Уютной Колонии к завкому можно итти двумя дорогами: по шоссе вдоль заводских корпусов, и по путанным тропам на предгорных сбросах через кустарники, каменные отвалы и широкие площадки былых разработок.

Отсюда завод был виден во всей массе сложных нагромождений: вышки, арки, виадуки, железо-бетонные и каменные громады зданий, то воздушно-легких, как гигантские пузыри, то кубически строгих в своей простоте и архитектурной тяжести. Они громоздились, спаянные друг с другом, или монолитно отшибом вырастали в горы на разной высоте. А в горных ущельях, по разрушенным бремсбергам, засоренным камнями, брошенными вагонетками, и сизым от пыли кустарником, под скалами, на отвалах брекчии, одиноко, вразброс, неожиданно высекались из голубого цементняка маленькие домики. Каменоломни радужными террасами ступенились вниз, в ущелья, и исчезали в буйных зарослях молодого леса. И море за заводом, в дымах дальних мысов, — полно налитая чаша, и горизонт зеркальной синевой четко резался в миражах от мыса к мысу, выше крыш и башен, и так же выше крыш, между трубами (они упруги и стройны, как живые

стебли), от города, с той стороны залива, и от завода в бухту, тетивою натягивались два мола с маяками на концах. И видно, как к заводу и пристаням необъятно струились полукружия зыби и раскалывались у берегов снежными бурунами.

Так же, как три года назад. Но тогда и завод и горы потрясались от внутреннего огня. И от скрытого грохота машин и электрического воя горы, заводские храмины, трубы и пирсы были живые, насыщенные силой вулканического напряжения.

Глеб шел по тропе, смотрел вниз, на завод, слушал низинную, застоявшуюся тишину, со сверчковым переливом ручейков, и чувствовал, что и он стал тяжелым, низинным, покрытым каменной пылью.

Тот ли это завод, где он помнит себя с детских лет, где сам рос из огня и грохота, и привык ходить по тропам и дорогам территории, дрожащим из глубины под его ногами? И он ли это, Глеб Чумалов, рабочий слесарного цеха, синеблузник, который идет сейчас одиноко по старой, одичалой тропе, чужой обличьем и походкой, с необычайным угрюмым вопросом и изумлением в глазах?

Раньше он был небритый (усы — колечками), и копоть и железная пыль не сходили с лица (от этого он казался смуглым), а теперь — бритый, и кожа сбледнела, и скулы и нос — сизы и шелушатся, обветренные полями. Разве это он, Чумалов, когда уже не пахнет от него гарью и маслом, и спина не сутулится от работы? Разве это он, слесарь Чумалов, когда у него — бравый военный постав, и на голове — зеленый шлем с алой звездой, а на груди — орден Красного Знамени?

Случилась какая-то чертовщина. Совершился странный сдвиг: кувыркнулась со своего упора гора и грохнулась в тартарары.

Шел, смотрел на завод, на горные разработки, на трубы, заглохшие тишиной, останавливался, думал и мурзился во вздохах:

— Эх, чортовы люди, проклятые... До чего ж довели, окаянные?.. Расстрелять — мало, мерзавцам... Да и какой же знаменитый завод угробили и запакостили, подлецы!

Знал одно: была могила, великое разрушение и жуть, и в этой могиле оказался он, оторванный от армии, и эта великая жуть была в его сердце. И могилы этой он испугался, и от этой жути не знал, что делать с собою.

Он спустился вниз, к заводу, на пустую площадку, черную от угля с плесенью ползущей травы. Давно здесь громоздились высокие пирамиды антрацита, и кристаллы их цвели смоляными алмазами. Над площадкой — отвесная скала в желтых и бурых пластах. Она осыпается потоками щебня и съедает остатки человеческого труда. По краям полукругом — ветвистые рельсы.

Прямо, за парапетом, из провала взлетает в высь на восемьдесят метров голубой обелиск трубы, и за нею горою дыбится огромное здание электро-механического корпуса.

Потухшим миром ухнул завод в бездельные дни. Нордосты изгрызли льдистые стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов, и кучи старой отработанной пыли на карнизах опять превратились в камни.

Прошел мимо сторож Клепка. Длинная на нем рубаха из мешка до колен без пояса. Он — в опорках на босую ногу. И опорки у него будто из цемента, и в цементе — ноги. Не стареет больше и будто был здесь всегда. Постоял, поглядел домовым на Глеба и пошел дальше. Одичалый обломок прошлого.

— Эй, ты... огрызок!.. Чего бродишь тут окаянным покойником?.. Прокараулил, чорт старый...

Изумление и тревога трепыхнулись в бородатой ощирке.

— Посторонним лицам вход строго воспрещается.

— Дурак! У кого ключи от завода?

— Ключи — без пользы: замков нема... слиняли... Гуляй вместе с ветром... Коза в заводе... и крыса... один грызунец... А человека — нет... пропал...

— Сам ты — старая крыса! Забились в норы, как раки, а бродите бездельниками, будь вы трижды прокляты...

Клепка нелюдимо, лохмато поглядел на него и пошевелил клочьями волос — хлопьями цемента.

— Шляпка с пипкой... чертячий рог... редька... Тут — некого пырять... человек пропал...

И пошел дальше, шаркая опорками.

С площадки в главный корпус завода шел высокий виадук на каменных устоях. В бетонных стенках — проломы, дыры для пулеметов. Завод был крепостью белогвардейцев. Из завода сделали конюшни и бараки для военнопленных. И эти бараки были кошмарными гробами в дни интервенции.

Посмотрел, какая сейчас утроба завода.

Дверей нет — сорваны с петель. Паутина, затканная цементною пылью, треплется истлевшими тряпками. И оттуда, из тьмы необъятного брюха, выдыхается плесенный смрад и старая отработанная пыль.

Волновался и рокотал полусвет звонким эхом забытого запустения. Мостики, лестницы, галлереи, трансмиссии, рычаги, трубы, провода — охапки мусорно-переплетающихся нагромождений. И — хмельной, кислотный запах цемента. Исполинский чанный массив труб с вырванной заслонкой. Воздух водопадно ревет в обметанной пылью воронке, плещется с косматым вихрем, толкает и всасывает Глеба в трубящее жерло. Раньше чугунная заслонка забивала рычащую глотку надежной затычкой, и труба с потрясающим гулом и громом в чреве сосала огненную окалину из пузатых цилиндров вращающихся печей.

По оловянно-хрустящей лестнице Глеб спустился вниз и пошел поющими шагами мимо окон, заброcанных пылью, как инеем. И только одно давило его до ничтожества, до кукольной тени, это — великанные цистерны вращающихся печей. Когда-то они с ревом и космическим свистом, пыхая доменным пламенем, ворочали свои раскаленные тела чудовищ и под ними толпы людей, облитых огнем, были смешными крохотными муравьями. Чугунными дугами и кактусами над туловищами печей, по бокам и сверху, вязались в путанные узлы и спирали тучные трубы. И опять — трансмиссии, ползущие по стенам и летающие по воздуху.

— Ах, сволочи!.. Ах, мерзавцы!.. До чего же довели такую богатую силу?!. До чего же довели, негодяи?!.

Длинными ночными туннелями он вошел в машинное отделение. Тут — густой, успокоенный свет и строгий храм машин. Пол — из цветного кафеля шахматной мозаикой. И черным мрамором с позолотой и серебром идолами стоят дизеля. Они твердо и четко стоят длинными рядами в кварталах, совсем готовые к работе: толкни — запляшут, заиграют зеркальным металлом. И маховики — живые, в полете, и чудится: горячими волнами струится навстречу Глебу жирный воздух, насыщенный маслом и серой. Рядами громоздятся дизеля, как алтари — требуют жертвы. И маховики стоят и летят. Потрогал рукою — крепко стоят, вросшие в землю. Могучими кристаллами стоят, готовые к взрыву.

Здесь, как и прежде, все было нарядно, чисто, и в каждой детали машин дышала теплом любовная человеческая забота. По-прежнему блистал пол восковым изразцом, и пыль не дымилась на окнах: стекла (их — множество) дрожали голубыми и янтарными изломами света. Здесь упрямо жил человек, и через человека жили и напрягались ожиданием машины.

И этот человек, в синей блузе и кепке, выбежал из переулка между дизелями, вытирая паклей руки, и играл белками и зубами. И кепка — лепешечкой к носу, и нос, похожий на кепку, и красной щетинкой усы — цепкий, колючий, пристальный.

— Ха-ха, дружище!.. Ты... Ах, какой же ты—бравый командарм!.. Чуял, что — жив и живущой... Вот, мол, придешь — и закрутим с тобою старую карусель... Ну, здорово... Вот обрадовал, дружище... Дай тебя помазать нашими машинными соками...

Это — он. Это — механик Брынза, старый товарищ.

Здесь он родился (отец был тоже механиком), вырос среди машин, и мир для него существовал только в машинном корпусе. И Брынза и Глеб вместе провели детство и вместе пошли шкетами в заводские корпуса.

— Ну и вояка!.. А ну, дай наглядеться!.. Напялил шлем, а выросли только нос и звезда... И руки и ноги твои узнаю — прут недуром.

Глеб рявкнул от радости и размахнулся для обнимки со старым приятелем.

— Брынза, чортов хлопец!.. Ты еще здесь? Почему не оседлал себя мешками, как вся заводская шатия?.. Или ты здесь пилишь машины для зажигалок?.. У тебя тут такой поворот, словно через миг ты пустишь шуровить всю эту чертовню...

Брынза с места в карьер схватил Глеба за руку и потащил его в глубь узкого прохода между дизелями.

— Смотри дружище, какие сатанаилы... Видишь, какие они? Они у меня, как девчата — чистоплотные... А стоит зыкнуть: Брынза, начинай... и вся эта веселая механика завертится и забарабанит железный марш... Машины требуют такой же дисциплины и живой руки, как твоя армия... Раз я — с машиной, я — сам машина... И пошли вы от меня к дьяволу с вашей политикой, горлодером и мордобоем. Деритесь там, дробите черепа, хоть захлебнитесь кровью — чорт с вами: это меня не

касается. А для меня — одно: машина и я, чтоб быть всегда в одной душе.

— Брынза! Я знаю твои руки: твои руки — золотые. Ух, какая красота!.. Козы есть? Будь они трижды прокляты... Пущай возжаются с ними дураки и брандахлысты... А на зажигалки ты не протянешь руки... Но, чортов хлопец!.. Ты зарылся в своих машинах: ты же ни бельмеса не чуешь всех наших переделок... Тут тебя не прошибешь пушкой...

Брынза срывно остановился и выпучил глаза на Глеба.

— Стоп!.. Лучше отшивайся, если пришел ко мне с агитацией и митингом. Этим, брат, меня не возьмешь. Ты — у машин, а не на сборище. Это ты знаешь, а ежели знаешь — молчи. Как я поступаю в этих разах? Было дело, а теперь заросли все дороги бездельниками. Забредет, бывало, сюда этакий лодырь и — получает по шеям... Лучшее место для этих болтунов — завком. Ха-ха, до чего же осатанели люди от горлопанства... потому что осатанели от безделья: безделье и горлопанство — одно и то же. Сюда с барабанными словами не подойдешь — нет: здесь, друг, машины, а машины, это — не слова, а руки и глаза.

Глеб ласково погладил блестящие части машин и пристально поглядел на Брынзу влажными, немного пьяными глазами.

— До чего же у тебя, друг, живая организация — уходить не охота! И до чего же опаршивел завод... и до чего же люди опаршивели!.. Какого чорта торчишь здесь и дрочишь руки над машинами, коли завод — сарай и мусор, а рабочие — лоботрясы, бродяги и шкурники?.. Беги и ты, пока не здох...

Брынза изломался судорогой от кепки до пяток. Мускулы на лице заиграли в гримасах. Будто сердце взорвалось в Брынзе, и кровь опьянила его бешенством. Он сразмаху ударил кулаком по блестящему панцырю дизеля и задохнулся.

— Завод должен быть пущен, Глеб!.. Завод не может умереть!.. Он требует для себя жизни, иначе он сожрет нас... Ты не знаешь, как живут машины?.. нет ты не знаешь... Можно сойти с ума, когда видишь и чувствуешь. Кто это знает? Я это знаю... только я!..

Такого надрыва раньше не было в Брынзе. Остался он с машинами и вместе с машинами остановился. Когда замолкли дизеля, и люди прошли через них массами к революции, к гражданской войне, голоду, страданиям,— он остался в молчании механических корпусов. Он жил так же, как жили

машины, и был так же одинок, как эти строгие блистающие механизмы.

— Ну, уходи отсюда — не мешай. Но имей в виду: завод обязан пойти. Если есть машины, друг, они не могут не работать: они, брат, работают даже тогда, когда стоят... Эх, если бы ты мог это знать!.. Чувствуешь ты или нет, но ты должен сделать все, чтобы зажечь первую спичку... Это имей в виду и помни каждую минуту...

Глеб взял руку Брынзы и потряс ее в радостном волнении.

— Друг! Правильно... Завод должен работать, коли он — завод. Вот тебе моя рука порукой: пустим завод. Умру, буду калекой, а завод дербалызнем... Факт! Пускай остаются твои дизеля в упряжке... Будем крыть, друг, всеми поджилками...

В ДЕТДОМЕ.

С веранды увидел Глеб детей еще внизу, в кустарниках, в чаще чахлых деревьев, дымящихся весной. Бродили, как козы на заводе, дрались, плакали... Кучками барахтались в земле — рылись торопливо, жадно, по-воровски, с оглядкой. Копают, копают — и все сразу рвут друг у друга добычу. Тот, кто посильнее и половчее, кувыркнется от кучки в сторону и алчно грызет, жует и захлебывается слюной, а ручонки работают около рта. А вон там, у забора, детишки копошатся в навозе.

Глеб сжал челюсти и ударил кулаком по перилам.

— Они все, эти щенки, передохнут с голоду, Дашка, расстрелять вас всех надо за вашу работу...

Даша удивленно метнула на него бровями и взглянула вниз. Усмехнулась.

— А, земляные работы... Это — не так страшно: бывает хуже. Коли бы не было глаза — все передохли бы, как мухи. Пооткрывали дома, а кормиться нечем. А персонал, дай волю, перегрыз бы детям горло. Хотя некие есть чистое золото... нашей выучки...

— А Нюрка — тоже так?.. И наша Нюрка — так?

Даша спокойно встретила взгляд и бледные скулы Глеба.

— А чем же Нюрка лучше других? Бывала и с Нюркой лихая беда. Коли бы не женщины, детей бы съели вши и зараза, а голодуха уложила бы влоск.

— Ты скажешь, что бабским горлодером и таким манером ты и Нюрку спасла?

— Да, товарищ Глеб, вот именно: таким манером — не иначе...

Когда шли с горы, дети были на веранде, а когда поднялись на веранду — и дети, и няни пропали. Должно быть, побежали на передачу вестей о гостях.

В зале — солнце, и воздух — густой, горячий, и пахнет сном. Топчаны — в два ряда, в белых и розовых одеялках в прорехах и заплатках. И дети — то в серых балахончиках, то просто оборвашки. Блеклые лица, и глаза в синих провалах. Няни проходят по одиночке по залу из двери в дверь. На стенах — мазюльки: клубные работы детей.

Няни проходят и почтительно останавливаются.

— Здравствуйте, товарищ Чумалова. Заведующая сейчас придет.

Даша не замкнута в себя: она здесь — хозяйка.

— Нюрка, я — здесь...

Девочка в балахончике (маленькая — меньше всех) уже ворошит детей и с визгом и смехом бежит навстречу. И дети — в свалке и тоже визжат и кувыркаются с нею босявками, а глазенки — как зайчики.

— Тетя Даша пришла!.. Тетя Даша пришла!..

Нюрка. Вот она, чертенок, какая — совсем не узнать: чужая, но что-то узнается родное.

Она с разлету врастает в мать и бьется о нее, как птáха, и кричит, и смеется, и пляшет.

— Мама, мама!.. Моя мама.

Даша тоже смеется, подхватывает ее на руки, кружится, целует и тоже кричит, как Нюрка.

— Нюрочка моя! Нюрочка моя!.. девочка моя!..

Опять прежняя Даша — та, которая была дома, когда с Нюркой встречала его вечером приходящим из цеха. И нежность, и ласка — прежние, и со слезою глаза, и певучий голос с нервной дрожью.

— А вот — твой папа, Нюрочка... Вот он... Помнишь своего папу?..

И Нюрка в испуге взмахнула глазами, повяла — смотрела на Глеба в нелюдимом любопытстве.

Он засмеялся, протянул руку и почувствовал, как горло свернулось в веревочку.

— Ну, поцелуй меня, Нюрочка. Какая же ты — большая!.. Как мама, большая...

А она отшатнулась назад и опять вросла в мать в пристальном взгляде.

— Это — папа, Нюрочка.

— Нет, это — не папа. Это красноармеец.

— Но я же — папа, и я же красноармеец.

— Нет, это папа — не папа. Папа похож на папу, а не на дядю.

У Даши глаза смеются слезой. У Глеба смех рвет веревочку в горле.

— Ну, пускай для первого раза я — не папа. А ты все же — моя дочка. Будем товарищами: я принесу тебе в другой раз сахару. Из горы выкопаю, а принесу. Но мама лучше меня. Ты — тут, а она — там.

— Мама — тут: и днем — тут, и не днем — тут. А папы нет. Я не знаю, где папа, а папа бьется с буржуями...

— Овва, вот откатала знаменито!.. Ну, дай же я тебя поцелую...

Дети голенасто трепыхались в хороводе, блекло пялились на Глеба, смеялись и жадно ждали голоса и руки Даши. Девочки, стриженные под мальчат, вперебой тянулись к Даше ручонками с кудрявыми пучками фиалок, и каждая непременно хотела первой вложить цветочки в ее руку.

— Тетя Даша... Тетя Даша...

Где-то далеко, в комнатах, барабанили на пианино, и разноголосо кричали до надрыва Интернационал детей:

Вставайте, дети обновленья,
Всех стран свободные юнцы...

Даша смеялась, трепала ребят по головенкам, и видно было, что они привыкли к этой ласке и ждали ее так же, как обычной порции еды.

— Ну, детишки, что вы кушали, что вы пили, у кого — брюхо полное, у кого — пустырь?.. Говорите!..

И они кричали ей в ответ общим горлодером. Чесали головенки и под мышками. А вон один чумазый дитенок шмурыгает мокрым носом, глотает сопельки и с выпученными глазенками кряхтит и царапает под рубашкой грязную грудь. Глеб подошел к нему и поднял рубашку. Кровавые ссадины. Струпья. Мальчишка заорал и в испуге убежал за топчаны, в угол. Из-за топчанов видна была одна голова и выпученные глаза.

— А-та-та-та!.. Вот лютый герой, шкет,—разом кроет на баррикады!..

И сам, и Даша, и дети раскололись смехом. А солнце тоже играло смехом в открытых окнах — больших, как двери.

С Нюркой за руку пошла Даша впереди и ни разу не взглянула на Глеба. И от этого Глебу стало больно: и Даша, и Нюрка — одно, а он — чужой им и где-то далеко. Даша здесь с Нюркой рука в руку — мать, и мать здесь она больше, чем дома. А он и здесь и дома — одинок и бездетен.

Да, надо и здесь завоевывать жизнь.

Прошли по всем этажам: и в столовой были, где — посуда и дети, и в кухне были, где — пар и запах шрапнели и тоже дети, и в клубе, где — пусто, а стены в плесени и мазюльках. Это здесь, сбитые в кучу около стриженной девицы с бурым родимым пятном во всю щеку, дети разноголосо и оглушительно пели Интернационал.

Вставайте, дети обновленья...
Вы — мира светлого творцы...

Домаха и Лизавета — соседки — тоже здесь. И в них Глеб увидел что-то новое, не виданное никогда. Обе тоже, как дома. Домаха была на кухне и помогала стряпать. Распаренная, с засученными рукавами, хлопотала, как у себя в каморе. А встретила Дашу поцелуями.

— Ну, вот пришла наша атаманша. Ты пробери там этот паршивый наробраз: надо дело делать, а не сморкаться в платочки. А продком — особо лбом о стенку: где это видано, чтобы детей кормить червями и мышиным дерьмом?.. Что, опять благоверный навязался?.. Гони его в шею — на кой он хрен тебе сдался... Мой не пришел, и ладно: чорт с ним. Их, кобелей, можно нахватать без счету, по выбору — на. Ну, ну, не дрочи глядевы — не из робких... не пужай своим колпаком... А в продком я сама пойду с залетом в наробраз и ботинкой буду бить им хари...

Даша похлопала ее по широким лопаткам и засмеялась.

— Ну, загорланила, гусыня... Лихая же ты баба, Домаха, уф...

— Морды всем надо колошматить... Все они, черти, глядят только в свою утробу. Я им всем там штаны спущу!

В горле у Глеба играл смех.

— Вот проклятая баба... кроет почем зря, без передышки...

А Лизавету нашли в кладовой, у завхоза. И завхоз и Лизавета — обе высокие, гордые, обе — опрятно одетые, похожие на сестер милосердия. Только завхоз — черная, с армянскими усиками, а Лизавета — белобрысая, в подушках (голод, разруха, а вся—налитая). Отвешивали продукты, проверяли, записывали.

И с Дашей встретилась Лизавета гордо, а улыбнулась одной вспышкой в глазах.

— Пройди, Даша, к кастелянше. После стирки белье — тряпки. Дети — без смены. Завтра поведем демонстрацией показывать нагишатников. Кого надо бить по башкам? Дети ходят в горы за топкой, а падалку всю подобрали рабочие — не на чем разварить шрапнель. Кого бить по башкам?

Даша записывала слова Домахи и Лизаветы и морщинками отсекала от бровей переносье.

— Ты, товарищ Лизавета, командируешься обследовать все дома, и потом — в женотдел. Рыть землю надо — верно. И бить надо — тоже правда.

А Лизавета только один раз толкнула взлядом Глеба, а потом больше его не замечала.

И опять — женщины в белых косынках и без косынок, и все почтительно и льстиво улыбались Даше.

А на Глеба осторожно и боязливо косились. Кто он? Может быть, один из надоедных ревизоров, к которому надо присмотреться и узнать слабые стороны?!

Глеб все хотел взять Нюрку за ручку и все воркова́л ей:

— Нюрочка, ну дай же ручку... Маме ручку дала, а почему мне нет?..

А она извивалась и прятала руки. И когда он нечаянно поцеловал ее и вскинул на руки, она вдруг стала покорной и впервые с его рук пристально и вдумчиво поглядела ему в лицо.

— Ваша Нюрочка — славная девочка...

Это сказала заведующая, юркая мышка, пестренькая, в искорках, ускользающая, с золотыми зубами.

Даша смотрела мимо нее, на стены и окна, и лицо ее опять стало сурово и жестко.

— Нюрочка Нюрочкой... Здесь все — одинаки. И все должны быть славные...

— Да, конечно, конечно... Мы делаем все для пролетарских детей... Теперь пролетарские дети должны быть центром нашего внимания. Советская власть так много заботится...

У Глеба заскрежетало в салазках.

Брешет. Надо обследовать, какой здесь элемент.

А потом — жалобы, жалобы, жалобы ..

И на жалобы Даша била словами в лицо заведующей (такого голоса раньше не слышал Глеб):

— Не плачьте, пожалуйста, товарищ завдомом... Вы покажите дело, а не плачьте. Плакать, это — еще не суть важное...

— Ну, конечно, конечно же, товарищ Чумалова... С вами так хорошо и весело работать...

А у Глеба скрежетало в салазках.

Даша ходила по всем закоулкам, нюхала, задавала вопросы. Не утерпела — толкнулась в комнаты персонала.

— Вот та-ак... Почему же стулья, кресла, диваны в этих каморах? Тут и цветочки, и картины, и статуи... и всякое такое... Я же говорила: нельзя отнимать у детей... Это — безобразие... Разве им плохо подчас поваляться на диванах и на коврах?.. И картины они любят... так нельзя...

— Видите ли, товарищ Чумалова... Вы — правы, конечно... Но воспитательная практика... педология... Это — вредно: развивает лень — всякая пыль и зараза...

В глазах заведующей дрожали иголки, а Даша, не глядя на нее, говорила тем же голосом, с красными каплями на скулах:

— А наплевать мне на вашу практику! Наши дети жили в ямах по-свински... Дайте им картины, и свету, и мягкую мебель... Все надо дать им, что можем... Обставить, украсить клуб... Им надо есть, играть и хорошо заниматься природой. Нам — ничего, им все: зарежь, души себя, а дай... А чтоб не ленился персонал, надо загнать их в дарные чуланы... Вы мне, пожалуйста не заливайте глаза, товарищ завдомом: я крепко понимаю кроме вашей практики и кое-что другое...

А юркая, пестренькая мышка сверкала золотыми зубами и смеялась в восторге (а в глазах играли острые иголки):

— Ну, кто же в этом сомневается, т. Чумалова?.. Вы — редкая женщина по чуткости и внимательности. При вашем руководстве все будет хорошо, все прекрасно...

И когда уходили, опять Даша ласкалась к Нюрке, и опять к ней липли детишки с птичьим разноголосым криком.

И опять Нюрка долго, вдумчиво смотрела на Глеба.

— Домой хочешь, Нюрочка? Там будешь играть, как раньше... И папа, и мама...

— А какое дома! Моя постелька вон там. Мы сейчас кушали молоко и пойдем ходить под музыку.

И впервые, робко и мягко обняла Глеба, а в глазенках (мамкины глазенки) тлелась искорка нерешенного вопроса.

И от дома до шоссе Даша молчала, а лицо ее дымилось не остывшей лаской. На шоссе сказала будто не Глебу, а себе:

— Нам, женотделу, много надо работать. Не детей обрабатывать... оф, обрабатывать наших проклятых баб... Коли бы не глаза и руки — все бы разграбили до последней крошки... Сами... по-рабски... оф... Везде — враги... ой, как много врагов!.. Тем, золотозубым, уж так положено, а свои... свои, Глеб..., по-рабски... Как ты думаешь на счет ущемленья, Глеб?!.

* * *

... Чувствовал не каждого отдельного человека Глеб, а нутряную лавину мускульного движения масс за собою и впереди себя. Купаясь в поту, он по-бычьи выворачивал киркою цементный сланец и шпат. И не сознаньем, а нутром купался Глеб в этой животной силе: она взрывалась не в нем, а волнами плескалась в него через грохот земли — через камни и рельсы — от этой огромной толпы, муравейной гирляндой со стонами и криками, идущей в кирках и молотах снизу, от труб и корпусов завода, от каменных отвалов, из дымной глубины — вверх к обелискам электропередачи.

Белые клубастые облака перекатываются в синие, и по зелени гор искрами мерцают и порхают роями первые весенние цветы. И опаловым дымом полыхают кустарники в камнях и расщелинах. Здесь — и вправо и влево — горы гигантской кратерной чашей стекающие вниз; там — море, небесно голубеющее в безбрежности и взлетающее выше гор миражным горизонтом. И между горами и морем воздушные глубины волнуются от солнечных вихрей.

Не это важно — важно вот это: прибойные шквалы труда муравейно собранных масс. Вот они, перед ним, и их нельзя счесть и ощупать каждого в отдельности, нельзя поглядеть каждому в лицо. И эти несметные толпы — тоже живые цветы. Красные колышутся повязки: это — женщины, как горные маки. Играют белые, синие, коричневые рубахи и куртки.

Вот оно то, о чем думал так недавно Глеб, что он хотел создать в тоске по труду...

Техноpук, инженер Клейст, сухой и мосластый, опираясь на толстую палку, сам лично руководит массовыми работами, и степенные техники и юркие десятники постоянно дежурят около него, надрываясь от усталости, и требуют указаний. А он, сутулый и важный, спокойно и холодно бросает мимо них неслышную команду.

Инженер Клейст — преданный спец советской республики... Рабочий Глеб Чумалов способен быть другом инженера Клейста...

Он останавливается недалеко от Глеба, сосредоточенный в себе, несколько раз внимательно озирает весь размах горных работ, и в глазах Глеб видит гордость и вспышки волнения.

Глеб заламывает шлем на затылок, смахивает брызги пота с лица и весело скалит зубы.

— Ну, что, товарищ технорук?.. Помните, вы говорили, что эта махина — на месяц труда. А глядите — мы грохаем только третьим разом... Ядовитые люди, а?!

Инженер Клейст натужно улыбнулся и, сохраняя привычную важность, разрывая деловое напряжение, сухо сказал:

— Да, да. С таким размахом работы можно делать чудеса. Но это — неэкономная трата сил: здесь нет планомерности и организованного разделения труда. Энтузиазм, как ливень — он непродолжителен и вреден.

— Знаменитый факт, товарищ технорук!.. Энтузиазмом мы бьем целые горы. В разрухе только с этого и нужно начинать. А когда оживим всю эту чертовщину, вот тогда будем планомерно учиться процессу производства.

Инженер Клейст встретил играющий смех в глазах Глеба и зябко дрогнул. Опираясь на палку, пошел в гору, к горящим обелискам электропередачи.

Нестерпимо пахло солнце — каменным накалом и жженной травой. Во рту и глазах горело пылью.

В горах звонили колокола.

Хорошо. Все — огромно и беспредельно. Солнце — живое, как человек. Оно близко, и бурно насыщает кровью каждую клеточку тела, и кровь — живая, поющая солнцем.

Масса — тысячи рук, сплетенных в тысячи взмахов, в реве лопат и молотов, тысячи тел в чешуйчатом могучем движении одного тела... Живая человеческая машина, сотрясающая недра камней...

В высь. Железный путь к солнечным вершинам...

Четкие линии рельс струятся по ребрам шпал в пропасть, на дно разработок, и вверх, в паутинные челюсти электропередачи, к колесам в голубых обелисках. Пройдет час — напрягутся железные струны канатов и лягут на солнце раскаленными нитями, и медными трубами запоют вагонетки — и вверх и вниз — и вверх и вниз ..

НА СТРАЖЕ.

Отряд Глеба занимал район предгорья, за городом, где были виноградники и огороды предместий.

Днем, во время строевых занятий в казарме, по городу из за гор далеким громом рокотало дыхание пушек: там, за дымными хребтами, шел бой. Свободный отряд особого назначения готовился выступать на подкрепление. По ночам он в полном составе нес сторожевую службу по охране города.

Днем город пустыми улицами проваливался в тишину и оторопь, ночью умирал во мраке. Уже не горело электричество на заводе, и окна обывательских квартир были наглухо закрыты ставнями и занавесками. И только по учреждениям, среди толчеи и табачного дыма, и по улицам обыватели и приблудные члены профорганизаций таинственно играли бровями при встречах. И шопот и шипенье носились по городу вместе с вихрями пыли, и ветер с гор разносил их по всем городским закоулкам, за город, в предгорья, в ущелья, где под каждым кустом и камнем таился невидимый враг.

Часть женской организации во главе с Дашей ушла с санитарным отрядом на позиции, а другая часть, под командой Поли, обслуживала коммунистический отряд в казармах и спешно подготовляла отправку семей рабочих на случай эвакуации.

Глеб с отрядом стоял в долине, за городом, охранял район шоссе и предместья. Все люди были распределены цепью от шоссе по кривой до склонов предгорья, а патруль из трех товарищей бродил по предместью и будоражил пугливых собак, и по их лаю можно было знать, где шагает патруль.

Глеб и Сергей стояли на опушке леса и следили за огненными факелами в горах.

Вон пламя вспорхнуло рыжей птицей на горе и полетело вверх. Взвилось ракетной струей и полоснуло мрак. Вспыхивала вытянутая рука и плечи человека.

Очень далеко, в ущельи, взметнулся такой же порхающий факел и полетел во тьме падающей звездой... Выше задрожал и закувыркался третий, потом еще и еще... Тухли, зажигались, звали, извивались в змеиных конвульсиях...

Позади—лес. Его не видно. Только деревья рядом, у шоссе, вихрятся лохматыми тенями. Пластаются крылатые ветви, и между ними — непроглядный мрак и серые змеи. Этой ночью, как и вчера, человек города умер от ужаса перед смертью, идущей с гор. И над городом звенит объятая страхом тишина. Город боится по ночам своего шопота и забился в подполье. И в лесу — тишина. Она зыбью плывет из его глубин и пахнет болотом и солодом. Новорожденные листья порхают бабочками, чихают и чешутся. И всюду льется, поет шмелиным звоном далекая, сказочная капель.

По шоссе, от гор, металлически звенела телега. Четко чокали копыта усталой лошади. Сонным хрипом невнятно бумкали голоса.

С винтовками под мышкой Глеб и Сергей пошли по дороге, которая у самых ног таяла и зыбилась ночью. Все — и земля и лес — проваливалось во тьму, и оттого, что не было твердой опоры глазам, Сергею казалось все невещественным, и небо и земля одинаково близкими и бездонными, как пустота. И при каждом шаге пугалось и замирало сердце: вот он сейчас опустит ногу, и вместо накатанной дороги — трясина или черная пропасть...

Ясно видна была лошадь. Морда тускло тлелась от вспышек зарниц и огней в горах. На телеге чернели тени. Их — много, и воз кажется большим и пухлым.

— Стой!.. Кто такие?..

Глеб стал на дороге, перед мордой лошади, и держал винтовку на отлет.

— Раненые...

— Пароль!

— Какой тебе чорт—пароль?!. Видишь башки — в чалмах.

— Как наши дела?

— Пойди, поиграй в чехарду — там узнаешь... Засели крысы в норе, а мы жарим... А по нас — шрапнелью... Ничего— угарно... Ставим ядреные крысоловки, сукинова сына... Шварчат и повизгивают, как порося... Зацарапали с полсотни офицерья и пошлепали в дрызг... Только глаза прыгали, как лягушки... Две сестренки сегодня всю братву распотешили...

Кишки порвали... Поставили их над утесом под мушку... Взвизгнула одна:—Хамы, поганые обезьяны!..—и кувырк,—вверх тормашки... Другая:—Хамы, босяцкая сволочь!..—и—кувырк,—вверх тормашки.. Такое, ядри твою мать, представление было—кишки полопались...

— А как насчет подкрепленья?.. Ждете?..

— На кой чорт... Мы живо их всех перешьем в строчку... Потерь у нас убитыми—плевое дело... А раненых—только первая партия... Остальные в окопах... Мы—сверху, хороводом, а они—в кубышке... ни туда, ни сюда—ни хвостом, ни мордой... чистая ступа, ядри твою корень...

— Ну, молодчаги, ребята... Трогай...

НА ПОВОРОТЕ.

Опять наступили спокойные, упрямые дни хозяйственных хлопот и будничной незримой работы в отделах, организациях и на заводе. И эти дни были точь в точь такие же, как и до восстания белозеленых и казачьих станиц—опять зашелестели бумагами канцелярии, опять—заседания в Исполкоме, в Совпрофе, в Экосо—в угарном табачном дыму, с окурками на полу, с бесконечными прениями, резолюциями и планами. Только по ночам уже не было видно блуждающих тревожных факелов в горах. Субботние привозы деревенских продуктов—картофеля, муки, зелени, яиц и мелкой животины—загромождали базарную площадь предместья, и в воздухе пряно запахло лошадиным потом, испражнениями и перегноем. В горных ущельях, по которым не было проходу ни пешему, ни конному, открывались небоязные лесные дороги с людным пешеходом, с тележным скрипом, с дремотной песней землероба.

И опять городские обыватели и деловые люди в гимнастерках, во френчах, в коже, с портфелями и без портфелей, выползли из ослепших квартир, из подполья на улицы, и никто не вспоминал об эвакуации, о громе пушек за горами, о пережитых ночных ужасах.

Небесно голубело море в горных берегах, и по набережной грохотали телеги и грузовики, а на рейде, за молами, до самого горизонта, замахали острыми крыльями рыбачьи белопарусники. По утрам неизвестно откуда появлялись у каботажей турецкие фелюги и бултыхались на волнах, шоркая по бетонным бокам пристаней, и в разнолет воздух тонкими

веретенами мачт. Приблудные члены профсоюзов уже не играли бровями при встречах, не шептались, не шипели на перекрестках, в заборы и панели, а деловито и громко говорили о новой экономической политике, о валюте, о турецких фелюгах и контрабанде.

На главной улице, около магазинов, бывших под складами и базарами разных хозорганов, громыхали грузовики и дроги, ревели и дрались лошади, и грузчики по целым дням рычали, матерились и хрипели под тяжестью тюков, ящиков, и мешков. Главная улица горела солнцем, пахла весенним небом, чистилась, как курица, в предчувствии новых надежд. Когда-то она цвела нарядами витрин, дышала ароматами духов и шелестом гуляющих модниц, а по ночам волновалась в лучах электрических реклам. Завтрашний день мерещился румяными улыбками сдобных, ушедших в прошлое, дней — завтрашний день без Чека, без паешного хлеба, без квартирного уплотнения, без регистраций и перерегистраций, без ущемлений, карточек и обязательной трудовой повинности.

Бабы и девки с поднятыми выше колен подолами стояли на подоконниках и лестницах, мыли и терли зеркальные стекла, и застарелая грязь рыжими потоками стекала на тротуар. И из темных сарайных утроб магазинов несло плесенью и затхлой прохладой погреба. Только пустоятным эхом звенели девичьи песни и раскалывались визгливым хохотом и перекликом. Перед раскрытыми дверями и окнами толпились бродячие люди и долго с беспокойным любопытством смотрели в нутро магазинов, на мокрые окна, на голые икры баб. И там, где окна чернели прозрачной пустотой, а внутри грохали молотки, визжали рубанки, на дверях и на стенах фасадов ослепительно разелись квадратами и полосами на солнце аншлаги:

„В непродолжительном времени здесь будет открыт рабкооп".

„Здесь открывается кофейня".

„Универсальный магазин ЕПО".

„Торговое Т-во Мануфактура".

А на гладких серых стенах городского дома (Коммунхоз) — аршинными буквами:

„Кто не работает, тот не ест".

„На руинах капиталистического мира мы построим великое здание коммунизма".

„Мы потеряли только одни цепи, а приобретаем целый мир".

На базарной площади сбивались новые лотки и палатки. Там чавкали топоры, вспыхивали золотые стружки, и в городе, по улицам, пахло сосновой смолой и масляной краской.

Около Наробраза с утра до четырех толпились шкрабы с сизыми отекшими лицами. Сбитые в кучки, стояли и сидели на тротуаре или рядом около стен, с покорным отчаянием, как слепые. Так толпились они около Наробраза каждый день целую зиму и весь март. Школы заняты под учреждения, в школах разграблены библиотеки и кабинеты, и парты изрублены на топку, а в Наробразе нет дензнаков. Почему же не сидеть и не ждать покорно зарплаты, которой не платят им с осени?

И когда Сергей выходил из заседания коллегии на улицу, он сразу угорал и задыхался в непролазном месиве шкрабной сутолоки. Не было улицы, не было тротуара, а воздух был тяжелый и нудный от дыхания, от грязного тела и одежды, от сизых лиц и мутных глаз в слезной мольбе и покорности.

Это сбитая в стадо толпа смыкалась перед ним в рыхлую непролазимую гущу — плаксивую, по-нищенски липкую, с сухими зубами в землистых губах, как у трупов. И только одно глухо стонали и шептали, может быть, отдельные голоса а может быть — все вместе:

— Сергей Иваныч!.. Сергей Иваныч!.. Голубчик, Сергей Иваныч... Вы сами учитель... Вы знаете... Как же так, Сергей Иваныч?..

А Сергей пробирался сквозь нищий толпеж и никого не видел: смотрел вниз, мимо всех, и смущенно улыбался. Улыбался и мучился от смутной вины перед этими заерзанными, полумертвыми людьми.

— Ничего не могу, товарищи... Требую, добиваюсь, но что же я сделаю? Я все знаю, товарищи... Ничего не могу... И когда будет возможность — не знаю.

Он шел, торопился, но никак не мог выбратся из толпы, никак не мог убежать от этих покорных, собачьих глаз и трупных зубов...

... Опять был массовый воскресник. Опять на бремсберге муравейной гирляндой копошились тысячи рабочих и грохотали молотами, кайлами и лопатами. Важно опираясь на палку, инженер Клейст опять лично заиграл флейтами на ролах, и колеса электропередачи замахали спицами в разных направлениях и пересечениях. А ночью завод опять вспыхнул электрическими звездами.

ЗАТОР.

На заводе шла ремонтная горячка. Еще не были вставлены разбитые стекла в окнах и крышах корпусов, и в бетонных стенах еще зияли дыры, в обрывках ржавых железных прутьев, а внутри, в сумеречных чревах, под звездами электрических лампочек, стонало и барабанило эхо от молотов и сверл, от скрежета, звона и чавканья металла.

Работали все наличные рабочие силы—200 человек. Ремонт вращающейся печи требовал особого внимания. Нужно было произвести переклепку стальной обшивки и заново выложить внутри огнеупорный слой. Заново нужно было отливать мелкие металлические части на дробилке, на мельнице, на самотасках, на сложных передаточных механизмах. Большая порча была в резервуарах для жидкого теста, где надо было делать новые вращающиеся мешалки и менять целые системы труб, причудливых цилиндрических решет и всяких переплетающихся, легких в линиях и рисунках, деревянных и металлических приспособлений. Меньше всего работ было в электромеханическом корпусе и в машинном отделении. Там был Брынза. Жил Брынза — жили и машины.

Люди, голубые от пыли, суетились, ползали около печей, прыгали по переплетам, по кружевам перекладин, лестниц, парапетов, как пауки, крысами грызли в ямах и дырах затвердевшую грязь, винтили, резали, пилили железо и медь, опутывались тенетами проводов, орали, матерились, скалили зубы, харкали грязью и задыхались от пыли, от духоты, от внезапной бурной трудовой встряски.

На второй магистрали работа шла спокойней и тише. Меняли рельсы в разных местах, чинили виадуки и очищали пути от камней и щебня.

Завод попрежнему стоял в пыли и запустении, но уже всюду чувствовалось его дыхание и первая машинная дрожь. Уже в механических корпусах непрерывно день и ночь пыхтели и рычали дизеля.

И каждый день строго и важно обходил все работы инженер Клейст во всем белом (и пиджак, и брюки, и шляпа), и впервые лицо его вздрагивало сдержанной улыбкой волнения. Так же юлили около него старые техники и десятники, а так же небрежно отдавал он им приказания, вздрагивая головой в такт своим словам. Но с рабочими был

попрежнему сух, молчалив и проходил мимо равнодушно, отчужденно и слепо.

Глеб поехал на неделю, а пропал целый месяц. Со второй же недели работы без него пошли с перебоями и к концу совсем прекратились. Заводоуправление перестало выполнять утвержденный план и удовлетворять материальные сметы, а в Совнархозе нельзя было добиться никакого толку. Опять— Промбюро, Главцемент, Госплан...

В заводоуправлении чистоплотные спецы с инженером Клейстом были откровенны.

— Бросьте, Герман Германович, чудить. Завод не может быть пущен, точно вы не знаете. Для чего им собственно завод? Ведь смешно, Герман Германович... Предположим, что завод пущен, и продукция поступила на склады. Что же дальше? Рынок? Но его ведь нет. Раньше нашим цементом питался главным образом заграничный рынок. А теперь? Строительство? Но ведь строительства тоже нет и не может быть, потому что нет ни капитала, ни производственных сил. Тарарам произвели здоровенный — в этом надо им отдать справедливость. А вот силенки-то нет, опыта-то нет, средств-то нет для созидательной работы. И не может быть при отсутствии частного капитала и частной предприимчивости. На национализированном коне далеко не ускачешь. Воленс-ноленс приходится обращаться к варягам.

Инженер Клейст холодно и важно слушал спецов, курил папиросу, не спорил, а заметил коротко и веско:

— Я пришел сюда не для разрешения вопросов из области политической экономии и общей системы государственного хозяйства в России. У меня — скромная задача: потребовать от заводоуправления выполнения производственного плана на ближайшее время. Ремонтные работы прекращены по вине заводоуправления.

Спецы смотрели на свои руки и прятали улыбки в учтивой предупредительности к инженеру Клейсту.

— Заводоуправление здесь не при чем, Герман Германович: оно получает все инструкции от Совнархоза. Обратитесь непосредственно в это учреждение.

Это были новые люди, присланные из Совнархоза, но эти люди под покровом лояльности надежно несли в себе прошлое. И он нес это прошлое, но оно стало далеким и мертвым: это прошлое перегорело в огне настоящего, и от него

остались только одни головешки. Между ним и этими людьми уже не было понимания. И он видел, что глаза их потухали от его неожиданных слов, и в улыбках их была скрытая насмешка, недоверие и трусость. Этот странный чудак или слишком хитер, или выжил из ума от панического страха перед большевиками...

Инженер Клейст шел в Совнархоз. И там встречали его так же, почтительно и приветливо, как своего человека и улыбались так же, как в заводоуправлении, загадочно, многозначительно, через золотые зубы, через пристальные намеки в глазах.

Так же важно и холодно он излагал сжато и четко о цели своего прихода и тут, как и в заводоуправлении, слушал учтиво-официальные ответы сквозь дымку скрытой насмешки.

— Да, выполнение ваших смет задержано. Вероятно, они будут пересмотрены. Видите ли, мы не можем вопреки Промбюро и Главцементу... Пока нет соответствующих условий... Предсовнархоза, как сведущий и осмотрительный человек (а в глазах пристальный игривый смех), согласился с нашим докладом... Тут слишком все поспешно... Что скажет Главцемент?.. Есть основания предполагать, что в Промбюро и особенно в Главцементе вся эта затея с заводом не встретит сочувствия... Мы ждем авторитетных указаний...

Инженер Клейст уже без техников и десятников бродил один по заводским корпусам, по рельсовым путям, подолгу осматривал пустынные площадки и постройки, разобранные механизмы, мусорные остатки прерванных работ, думал и угрюмо бил палкой по камням, обломкам и брошенным материалам. И только один человек встречался ему в этих молчаливых прогулках — сторож Клепка, с бровями и бородой, как хлопья цемента.

*
* *

На ажурной вышке вместе с Глебом стояли: Жидкий и Бадьин, члены завкома и инженер Клейст. Но Глеб был один, потому что все эти бесчисленные толпы зыбились, бурлили, цвели подсолнечными полями—там, всюду, насколько охватывал глаз. Они были там, а он—здесь.

Тут, у самого основания вышки, длинной полосой — и вправо и влево — кострами горят красные знамена. И сама вышка пылает алыми полотнами в железных переплетах: знамя

ячейки льется с барьера, сейчас же от Глеба вниз, и густо каплет кистями на другие знамена, в толпу, а с другой стороны, где стоит Бадьин и Жидкий,— другое знамя — профсоюза строительных рабочих. И под парапетом жирным потоком льется пунцовое полотнище, и огромные белые буквы горят весенними цветами:

Мы победили на фронте гражданской войны.

Мы победим и на хозяйственном фронте.

Головы и плечи дышат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и сизыми лицами, картузами и кепками, и всюду—и там и там красными крыльями взмахивают плакаты. За ними не видно толп, а над ними, дальше,— опять толпы, такие же толпы, и опять — знамена и плакаты. Они колышутся в водоворотах, по ребру и скатам горы — выше, выше, а там — опять знамена и плакаты маковым севом. И видно, как снизу, из ущелья все еще текут бесконечные толпы. Там, далеко, музыка играет марш, а тут — нутряной животный гул, и дизеля грохочут и лязгают металлом. Гула и воя толп нельзя отделить от грохота машин. Брынза—прав: машины и люди, это—одно. Массы не могут молчать. Массы живут особой жизнью от единиц: они — в постоянном напряженном движении и всегда готовы к взрыву.

День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядреный и маревный. Глеб смотрел на горы и в небо: там фырчал и пел мотором невидимый аэроплан, и шелковые нити паутин плавали в сини и дымились жемчужной пылью.

Глеб до боли в суставах сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Сердце надувалось кровью и заполняло всю грудь до удушья. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило тысяч двадцать, а колонны все идут без конца. Вон они где — не меньше чем за версту, на горе,— растекаются по бурому взгорью, по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше и выше. Так можно засыпать человеческим массивом всю гору до самой вершины...

Вон, недалеко, вправо, за вышкой, стоит вольно полк красноармейцев. Так же когда-то стоял и он. Давно ли это было? А теперь вот он здесь: опять рабочий завода, да в придачу— в головке партийной братвы. Завод. Сколько положено сил, сколько было борьбы! Вот он, завод-богатырь и красавец.

Был он недавно мертвец—чортова свалка, развалины, крысиное гнездо. А теперь грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, курлыкают ролами бремсберги и звенят вагонетки. И завтра заревет и закружится на своих осях первая великанная цистерна вращающейся печи, а вон из этой страшенной трубы заклубятся седые облака пыли и пара.

Разве все это не стоит того, чтобы все эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Он... Что он, Глеб, среди этого людного моря? Не море, а живая гора—камни, воскресшие людом... Ух, какая силища!.. Это—те, кто с лопатами, кирками и молотами прорезали горы для бремсберга. Это было весной, в такой же вот прозрачный солнечный день. Тогда была пролита первая кровь. Теперь город—в дровах, а здесь все готово к пуску завода. Сколько крови в этой великой рабочей армии! Ее, этой крови, хватит надолго. Работает транспорт. Будет работать Судосталь. Зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины?

Были когда-то смертельные ночи и дни в боях, и было: дрожал за жизнь свою и думал о Даше. Как все это—давно, как далеко и ничтожно. Даша... Ее нет: она утонула в толпах, и ее не найдешь. Не все ли равно? Была Даша, и—нет ее. Все—это—далеко и ненужно. И его—нет, а есть только непереносный восторг, и сердце, которое лопнет от крови. Рабочий класс, Республика, великое строительство жизни... К чортовой матери, мы уж умеем страдать, но умеем уже чуять силу и радоваться!

В глубинах толп—грохот машин и далекий вой ветра в горах: это—топотала толпа, и песни—и тут и там—вперeплет, вперeклик, без напева, без слов.

— Чумалов...

Инженер Клейст стоял около Глеба, бледный, строгий, в старческой седине, с сухими глазами, глубоко запавшими под набровницы.

— Чумалов, я никогда не испытывал ничего подобного в жизни. Нужно очень много сил, чтобы перенести это...

Глеб взял его под руку и не знал, кто дрожит: он или инженер Клейст.

— Герман Германович, нас нельзя победить... Глядите... Этого не забудешь никогда... Сейчас будем чествовать вас, как героя труда.

Инженер Клейст отвернулся и пошел от него в другой конец площадки, подрыгивая шляпой.

Толпы упруго волновались, текли внутри извилистыми струями, сбивались в плотные кучи. Колыхались и вздрагивали знамена и плакаты. Взрывы хохота потрясали воздух животным ревом, а под ногами Глеба дрожала досчатая настилка. Разрывалась гуща голов пыльными яминами, в пьяном весельи прыгали картузы и красные повязки. Пляс под всплески ладошек и визгливый речитатив. Видно, как осыпается камень и щебень в пластах скалы.

Лошак и Громада тоже здесь, на вышке. У Лошака — все от антрацита: и горб, и лицо, и засаленная годами кепка. Лицо такое же, как в завкоме,— угрюмое, тупое, в обломках, только белки в рубцах и кровоподтеках надуваются, как пузыри. А Громада скрючился, будто в ознобе и лопатки шоркают щепками под пиджаком. Лицо — желтое, лихорадочное, с острыми скулами. Спина и плечи подымаются к ушам, и он дрожит и надрывается от кашля. Чортов Громада, на какой он держится жиле, когда он, Глеб, как былинка от этих лавин? А Лошака сам сатана не берет: ему работа только с своими горбами — на спине и груди — подлая ноша.

— Ну, как, братва?.. Громыхаем, чортовы ребята...

Лошак выпучил на Глеба бычьи белки и натянул кепку на глаза.

— Гвоздуем, болвашка... Верно... Поставили дело на попа, а упором бузуем на пузо... Так надо высказать, головешки...

А Громада замахал руками, и все костяшки у него заходили ходуном.

— Вот именно, товарищи... Тут брось дискуссировать... Как мы есть дали великолепное достижение, но я просто на своих ногах не стою, как эти рабочие массы доказуют свою пролетарскую сознательность и так далее... Товарищ Чумалов... да ежели бы... эх!.. Товарищи... тут — все и везде... и так и дале...

Глеб больше не мог стоять: хотелось прыгнуть с высоты в это море голов, хотелось заорать во все горло без слов, до надсады... Все равно: разве это все можно выдержать? Вот оно то, чем он жил все эти месяцы... Оно — тут, оно собрано в единую силу...

Он шагнул к Бадьину и Жидкому с судорогой восторга в лице.

Бадьин метнул на него холодными глазами. Плеснулась волною черная тень в зрачках и скользнула пленкой.

— Пора начинать, товарищ Чумалов. Сейчас я покрепче заверну на четверть часа текущий момент, а потом ты дерябни по самому сердцу. И сразу подавай сигнал. Приветствия пустим после гудков.

Долго утрясались толпы, долго таяли утихающей зыбью рокот и гул голосов, замолкали песни и оркестры, и все эти несметные массы потекли с дальних склонов головами и знаменами, в водоворотах и вихрях.

Говорил Бадьин — говорил долго, всеми легкими, всем телом. Разве можно сказать, что говорил Бадьин? Говорил все, что нужно для праздника. Тут было, что надо: и советская власть, и новая экономическая политика, и хозяйственное строительство, и товарищ Ленин, и Российская Коммунистическая Партия, и рабочий класс... А вот подошел к самому главному, запомнилось так:

— ...И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте — победа огромная, нечеловеческая — это пуск нашего завода, этого гиганта Республики. Вы знаете, товарищи, с чего началась борьба? Весною организованными силами мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам бремсберг и топливо. Рабочие профстроя не выпускали из рук молотов и удар за ударом ковали жизнь в машины, во всю сложную систему колоссального сооружения. Завод — на ходу. Завод готов к работе на полный размах. С этого дня — четвертой годовщины Октября — мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве наши рабочие массы могут забыть имя борца, красного солдата, беззаветно отдавшего свою жизнь великому делу революции, разве они могут забыть имя товарища Чумалова?.. И здесь, на фронте труда, он — такой же самоотверженный герой, как был на полях сражений...

Дальше ничего не было слышно. Будто гора сдвинулась с места и со страшным грохотом обрушилась на Глеба, на вышку, на заводские корпуса. Рев, вой, гул, землетрясение... Вышка дрожала и колыхалась, как проволочная. Пройдет мгновение — и она грохнется, как игрушка, взлетит на воздух и будет прыгать над морем голов, над знаменами, в волнах человеческого содома. Внизу и где-то еще и еще гремели медью оркестры.

Глеб, бледный, ошеломленный, лепетал странные слова, непонятные самому, задыхался, махал руками и неудержимо смеялся не нутром, а одною судорогой в лице.

— Говори... твое слово... Режь...

Зачем говорить, когда все ясно без слов? Ему ничего не надо. Что его жизнь, когда она — пылинка в этом океане человеческих жизней? Зачем говорить, когда язык и голос его не нужны здесь, глупы и ничтожны? Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих грохочущих масс...

Тряслась челюсть, и зубы выбивали дробь. Ослепли глаза, и толпы запылали огненной вьюгой.

— Ну, говори же... Дрызгай с места в карьер...

И не помнил, что говорил, и будто не говорил, а бормотал бессвязную, жалкую чепуху. Но его голос слышали даже дальние толпы на взгорьи.

— И не барахолить словами, товарищи... не трепать языком... крепко поставить на плечи башку, а руками держать дело за ребро... Вот как надо ставить вопрос. Это — не заслуга, когда мы бьемся над созданием нашего пролетарского хозяйства... Мы — все... единым духом. Если я — герой, так все же герои... А если мы не натянем кишки до геройства, так всех же нас к чортовой матери — по шеям с колокольни. Но скажу одно, товарищи: мы сделаем все, создадим все и дадим мы, будь оно проклято, кому надо, сорок очков вперед... А вот, если бы нам побольше таких техноруков, как наш инженер Клейст, да еще кой-чего немножко, так мы бы в два счета покрыли на ять всю Европу... Это будет, товарищи... это должно быть... мы ставили ставку на кровь и своею кровью зажгли весь мир .. Теперь, закаленные в огне, мы ставим ставку на труд... Наши мозги и руки дрожат... не от натуги, а требуют новой работы... Мы строим социализм, товарищи, и свою, пролетарскую, культуру... К победе, товарищи!..

Опять гора осела грохотом и взорвалась ревом и медью оркестров.

Глеб, помнил, будто сквозь сон, как схватил красный флаг и взмахнул им над толпою три раза. И сразу же охнули горы, и воздух вихрем заклубился в металлическом вое. Ревели гудки — один, два, три — вместе, разноголосо, рвали барабанные перепонки, и будто не гудки это ревели, а горы, скалы, толпы, корпуса и трубы. И вместе с гудками ревели и грохотали несметные толпы. Плясали они здесь под вышкой, там

на скалах, на склонах горы, огненными крыльями полыхали знамена и оркестры звенели колоколами.

Вопросы-задачи. *1. Какая эпоха изображена в романе. 2. Опишите завод в период застоя. 3. Отношение „спецов" к делу восстановления завода. 4. Какими художественными средствами пользуется Гладков при изображении труда коллектива? 5. Подберите стихотворения пролетарских поэтов, посвященные коллективному труду и выпишите их в свои лабораторные тетради, сравните их с отрывками на ту же тему из романа „Цемент". 6. Укажите особенности стиля Гладкова: сравните язык в его авторском монологе и диалоге. 7. Выпишите слова кубанского диалекта из речи действующих лиц.*

Прочтите все произведение и напишите доклад на одну из следующих тем: 1. „Борьба на хозяйственном фронте в изображении Ф. Гладкова". 2. „Передовая личность и масса". 3. „Проблески нового быта в рабочей среде".

СЛОВАРИК.

Аркада — сводчатые переходы, ряд сводов.
Окалина — мелкая пленка, осыпающаяся от железа при ковке.
Каботаж — прибрежное плавание судов.
Ажурный — узорчатый, сквозной.
Рассупонить (супонь) — развязывать, раздевать.

О ГЛАДКОВЕ И „ЦЕМЕНТЕ".

П. С. Коган.

I.

Среди беллетристов, выдвинутых эпохой гражданской войны, Федор Гладков занимает особое место. И прежде всего в сфере сюжета. Когда перебираешь романы и повести, освещающие эти бурные годы, бросается в глаза одна их общая черта. Это — героические поэмы, былины, монументальные создания, порою соответствующие величию изображаемых событий. Их композиция и стиль гармонируют с сюжетом. В повести Малышкина „Падение Даира" вы не видите отдельных фигур. Словно огромное чудовище, все существо которого напряженно устремлено к той точке, где высятся последние твердыни врага, перед вами сконцентрированная воля народа, коллективная энергия миллионов, бьющая из каждого

стиха этой замечательной поэмы. Таковы, например, еще „Железный поток“ Серафимовича, „Чапаев“ Фурманова и т. д. И здесь, как и там, некогда остановиться, подумать, оглянуться на себя.

Ф. Гладков возродил психологический роман. Правда, это делают и другие писатели. Вспомним хотя бы „Города и годы“ Федина. Но то писатели иного мироощущения. И возрождение психологии, рефлексии в их творчестве есть фактически возрождение настроений и приемов нашей дореволюционной интеллигенции. Там другая среда, та среда, для которой размышления и переживания, внутренняя жизнь, неустанная работа совести и сознания всегда были господствующей стихией еще со времен Рудина и Лаврецкого. Активистская, волевая стихия была чужда интеллигенции, которую изображал Тургенев или Чехов. Гладкова вынесли на поверхность нашей литературы революция и ее зиждущие, творящие силы. Он явился оттуда, откуда пришли герои Даира и „чапаевской дивизии“, от рыболовных волжских и каспийских ватаг, от крестьянской бедноты, от голода и больницы, от революционного подполья и ссылки. Он, если не единственный, то наиболее глубокий писатель, попытавшийся постичь личное там, где так мало места личному; углубиться в индивидуальные драмы там, где на первом плане волнующие социальные конфликты, столкновения огромных коллективов, борьба непримиримых интересов. В этом водовороте, где большинство пролетарских писателей следит за массовыми движениями, где самыми увлекательными, захватывающими сюжетами служат безликие титаны, символизирующие ту или другую общественную силу, в этом вихре событий Гладков тщательно ищет человеческую личность. В отличие от других писателей, он начинает каждую из своих повестей не зрелищем поля битвы или многотысячного собрания, а тихим вздохом раненой человеческой души. В центре его повествований — всегда личность, тонко и сложно чувствующая человеческая личность, бьющаяся в противоречиях, ищущая решения „вечных“, „проклятых“, вопросов.

II.

Гладков перенес эти темы, которые, казалось, были монополией интеллигенции, в новую среду. Среди занятых людей, не знающих отдыха, утомленных нагрузкой, рефлексия, размышление над вечными вопросами приобретают иную окраску, чем в той среде, где „переживания“ были только пряной

приправой к слишком большому досугу и безделью. Гладков принадлежит к числу наиболее совестливых писателей нашей эпохи. Личность, перетираемая колесом истории, личность страдающая, мыслящая, без конца терзающаяся в своих собственных глубинах, порою доводящая себя до исступления противоречиями, рождающимися в ее собственных недрах,—такова излюбленная тема Гладкова. И когда личность сталкивается с коллективом, когда обе стихии ударяются одна о другую, вызывая фантастические душевные потрясения, эти конфликты не скоро разрешаются гармонией, как это происходит с более простыми и прямолинейными героями Фурманова и Серафимовича. Гладков проникает более глубоко во всю сложность человеческой души. У него нет легкого и быстрого примирения в борьбе частного и общего, а есть доподлинная трагедия, истерзанная в борьбе душа, расплачивающаяся неутолимыми муками за отступление от „мирового морального закона",—сказали бы мы, если бы в наши дни была допустима старая эстетическая терминология. Несомненно, что Гладков, автор пьес „Бурелом" и „Ватага",—драматург по призванию. И его повести похожи на драмы. В них больше диалога, чем рассказа, больше психологической, чем социальной борьбы. В его героях нет той простоты воина, которая заставляет человека повиноваться требованиям истории, выполнять долг без рассуждений, без анализа, ослабляющего волю. Его герои не могут ни смотреть на себя со стороны, ни искать своего места среди целого. В них много гамлетизма, и они, подобно датскому принцу, готовы кричать временами о распаде мироздания, скорбеть о том, что судьба призвала их связать рвущуюся связь времен.

Уже в предыдущей крупной повести Гладкова „Огненный конь" ярко сказался его интерес к психологизму.

III.

В „Цементе" сталкиваются две социальные стихии: стихия строительства и инертность, разруха, косные силы прошлого. И здесь великая задача, сменившая борьбу на военном фронте, задача организационная, дело восстановления нашего хозяйства, преображена автором в задачу психологическую, в борьбу сил, столкнувшихся в человеческом сознании. Автор повествует о том, как титаническими усилиями удалось пустить в ход разрушенный завод, привести в движение замолкшие

машины. Но в этой истории развертывается другая история, история преобразования всего уклада человеческой души. Выходят из мрака и застоя силы, загораются огнями умершие было окна завода. А вместе с ними просветляются человеческие умы и сердца. С первых строк мы знаем, что завод будет пущен, что автор расскажет нам о великой энергии страны, отраженной в усилиях группы лиц, в которых кипитобщая стихия, которыми движет строительская воля творящих классов. Но с первых же строк читатель ждет и другой повести, повести о том, как переживет Глеб Чумалов, рабочий слесарного цеха, синеблузник, вернувшийся с войны, как переживет он то новое, чуждое, что глянуло на него из глаз жены Даши, некогда только жены и бабы, а теперь сознательной советской работницы.

Собственно, ничего и не случилось. Глеб принес с собою с войны достаточно революционного пыла и строительской энергии. Да и Даша не разлюбила Глеба, а только стала иною. Не нужно ей „жилого гнезда". Выветрилась психология мещанского уюта. Дочь Нюрка в детдоме, и не „кучерявится" больше цветочками на оконцах и не надуваются кровати пуховыми подушками. Не в понимании своего долга, не по отношению к работе стали они „врагами, но где-то глубже, в первоисточнике своего сознания". Даша ли глядит на него непобежденной самкой или он не почуял в ней раньше настоящей ее души, которая узналась за эти три года и стала упрямой и непокорной? Где она, Даша, впитала в себя эту силу? Не на войне, не с мешком на горбу, не в бабьих заботах: проснулась и струной напряглась эта сила от артельного духа, от боли огненных лет, от суровых испытаний под тяжестью новой и тяжелой бабьей свободы. Смяла она его дерзостью воли, и он, военком, смутился и растерялся.

IV.

Весь интерес романа именно в этом конфликте сознаний. Гладков умеет сосредоточить драматизм на внутренней, а не на внешней борьбе. Победа революции здесь не в том, что будет пущен завод. Ее победа прежде всего в том, что перестроится душа Глеба. У Гладкова революция социальных отношений — средство, а цель — человек. Воскрешение завода завершится только тогда, когда вытравит в себе Глеб раба, когда и в его сознании восторжествуют мысли, уже ясные для Даши: „Должны же мы, наконец, произвести революцию и

в себе. В нас самих должна быть беспощадная гражданская война. Нет ничего более крепкого и живучего, как наши привычки, чувства и предрассудки. У тебя бунтует ревность, — я знаю. Это хуже деспотизма. Это такая эксплоатация человека человеком, которую можно сравнить только с людоедством". Драматизм этой повести заключается в том, что Глеб, уходя на войну, оставил бабу, а вернувшись, нашел равного ему по силе человека, взявшего на свои плечи все тяготы этих лет, нашел женщину с мужичьей ухваткой, без прежнего домашнего глаза, без былой привязанности к мужу и логовищу, которая считает, что мечта о личном счастьи стала чем-то ничтожным, стыдным, вредным для дела, что и самую любовь надо строить как-то по-новому.

Господствующая литература наших дней не задерживалась на человеке, она рисовала действия коллективов, она была права, когда до сих пор направляла свой пафос на внешние победы и достижения. Теперь человек выходит на сцену. Можно сказать, что мы уперлись в человека. Литература ощущает новую великую задачу. Перестроены отношения, разрушены многие старые формы жизни, укрепляются новые, но все это не прочно, если не возникнет новый человек. Что такое этот пуск завода, если торжество труда не захватит, не увлечет, не убедит человека в том, что в этом есть радость большая, чем ничтожные личные радости, что жертва этими последними во имя первых не есть жертва, а великая выгода, замена меньшего большим, что нужен новый энтузиазм, коренной переворот в самом ощущении счастья и радости.

В новом романе Гладкова глубоко захвачена эта проблема. Волнующее впечатление оставляют последние страницы романа. Еще за минуту до открытия завода какое-то торжество всех атавизмов, тех „мертвых, которые властвуют над нами". Еще за минуту Глеб, в душе которого кипит ревнивая злоба против Бадьина, Глеб — „глупый и бешеный бык, инстинктивно хватающийся за револьвер, чтобы убить мерзавца и бандита", размышляющий „утробой, а не мозгами", и его непримиримый враг Бадьин, во взгляде которого, за мутью в зрачках, горел неугасимый уголек ненависти. Но вот началось торжество „открытия" — и личное, частное потонуло в общем. Исчезли Бадьин и Глеб, разделенные ревностью и злобой. Мелкое растворилось в великом, лицом к лицу стали два солдата единой армии, два борца за общее дело. Оба чуяли

каждый в другом только великое его сущности. И оба говорили об огромной нечеловеческой победе, о пуске завода, нового гиганта Республики. Вспоминали, как организованными силами впервые ударили кирками и молотами по горным пластам, как не выпускали из рук молотов, и удар за ударом „ковали жизнь в машины, во всю сложную систему колоссального сооружения“. Сердца, разделенные враждою в личном, сливаются в братское единство в строительстве, созидании. И Глеб, за минуту до того обуреваемый силами прошлого, схватил красный флаг, взмахнул им над толпою, и все существо его растворилось в общем восторге. Ревели гудки — один, два, три — вместе, разноголосо, рвали барабанные перепонки, и будто не гудки это ревели, а горы, скалы, толпы корпуса и трубы.

V.

Гладков не имеет соперников в этой способности приводить от частного к общему. Его революционность не в некритической, принятой на вере, догме. Он видит все проходы, которые тщательно роет крот революции. Он заглядывает в глубочайшие тайники человеческой души и открывает там действия вулканических сил, сотрясающих мир. На его широких полотнах видны не только огромные пятна, но тщательно вычерчена каждая фигура. Гладков усвоил приемы старого реализма, манеру детальных описаний. Внешние черты его героев так же врезываются в память, как и их характеры. Эта детальность описаний, это внимание к мелочам гармонирует с его мироощущением, сущность которого — любовь к человеку, к живому человеку, сотканному из страстей и мыслей. Это самый индуктивный из всех писателей, самый строгий собиратель фактического материала.

Отсюда необычайная убедительность его художественных выводов. То, что показалось бы банальностью и трафаретом у другого писателя, приобретает художественную значимость под пером Гладкова, только потому, что выводу предшествуют душевные драмы, яркое озарение индивидуальной жизни. И не покажутся избитыми следующие строки: „Значит, нужно одно: партия и работа для партии, личного нет. Что такое — его любовь, скрытая в незримой глубине? Что такое — его вопросы и мысли, ноющие под черепом? Все это — отрыжка проклятого прошлого. Все это — от отца, от юности, от интеллигентской романтики, все это должно быть вытравлено до

самых истоков. Все эти больные клеточки мозга надо убить. Есть только одно — партия, и все, до последнего волоса, должно быть отдано партии. Будет ли он восстановлен или нет, — это не изменит дела: его, как обособленной личности, нет. Есть только партия, и он только ничтожная частица в ее великом организме".

Его роман переливается лирическими думами, но это не размышления уединенного ума, это печаль или ликование, рожденные в душе игрою событий. И часто о печали и радости не от себя говорит автор, о них поют здания и массы, и в самих заглавиях отдельных глав часто светится лирическая дума: „Пустынный завод“, „Отчий дом“, „Сигнальные огни“, „Встреча покаянных“ и т. д. Это — симфонии. Такие описания, как картина остановившегося завода, звучат настоящей музыкой.

Композиция романа стройна и прекрасна. Пестрые образы располагаются в стройные группы, и все это увенчивается основной мыслью, замыслом автора, дающим значение каждой детали, среди которых нет ни одной лишней. Этот замысел — внутренний смысл самих событий: все направлено к единой цели, которая диктуется ходом революции, к преобразованию и внешних форм жизни и человеческого сознания.

СЛОВАРИК.

Сфера — круг действия, область влияния.

Монументальный — значительный по размерам, массивный.

Гармонировать — соответствовать.

Рефлексия — самоуглубление, самоанализ (копание в личных настроениях, мешающее решительности в действиях).

Конфликт — спор, столкновение.

Титан — гигантское существо древней мифологии; в обычном словоупотреблении — мощный, сильный человек.

Монополия — исключительное право на пользование чем-либо (в торговле, промышленности и проч.).

Терминология — специальные технические слова и выражения, принятые в какой-либо науке или искусстве.

Диалог — разговор между двумя лицами.

Инертность — неподвижность, недеятельность.

Косность — застой, неподвижность (сходно по смыслу со словом „инертность“).

Атавизм — появление у животного или человека свойств, принадлежащих его отдаленным предкам.

Догма, догматический — бездоказательный, принятый на веру.

Индукция, индуктивный — метод мышления, при котором от частного переходят к общему, из ряда отдельных частных фактов выводят общий закон.

Банальность — избитость, пошлость.

Трафарет — установленный образец, избитая ходячая мысль.

КРИТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ.

1. О Фурманове и его творчестве: рецензии, некрологи.

Ф. Жиц. Рецензия о книге „Мятеж“ — „Красная Новь“ 1925 г. кн. 6.
Анищев. Фурманов „Красный десант“ — рецензия „Печать и Революция“ 1923 г., кн. V, стр. 293 — 294.
В. Полянский. Фурманов „Мятеж“, — рецензия „Печать и Революция“ 1925 года, кн. V—VI, стр. 522.

2. О Серафимовиче.

В. Вешнев. „А. Серафимович, как художник слова“. Изд. „Московский рабочий“ 1924 г. стр. 96.
Г. Якубовский. „Диалектика революционного реализма в произведениях Серафимовича“ — „Правда“ за 1924 г. № 62.
П. Котан. „Серафимович 1864 — 1924 г.“ — „На посту“ 1924 г. № 1/5, стр. 139 — 150.
Вешнев. Серафимович „Железный поток“ — „Правда“ 1924 г. № 57.
Полянский. Серафимович „Железный поток“ — „Красная Новь“ 1925 года, кн. 3, стр. 274 — 285.
Дм. Фурманов. „О „Железном потоке“ Серафимовича“ — журнал „Октябрь“ 1926 г., кн. 2, стр. 98 — 109.

3. О творчестве Бабеля.

Лежнев. „Литературные заметки“. „Печать и революция“ 1925 г., кн. IV.
Вешнев. „Поэзия бандитизма“, журнал „Молодая гвардия“ за 1924 г., кн. 7 — 8, стр. 274 — 280.
Як. Бенни — „Бабель“ — „Печать и Революция“ 1924 г., кн. 3, стр. 135 — 139.
Горбачев. „Два года литературной революции“ — Л-ад, 1926 г.
Воронский. „Литературные типы“ — изд. Круг, стр. 99 — 112.

4. Критические статьи о Ф. Гладкове.

Лежнев. „Ф. Гладков“ — „Цемент“ — рецензия „Печать и Революция“ кн. VII за 1925 г.
Вешнев. „Ф. Гладков“ — „Известия“ 1926 г. 17 апреля.
П. С. Коган. „О Гладкове и „Цементе“ — „На литературном посту“ —1926 г., кн. 1.
Горбачев. „Два года литературной революции“, изд. „Прибой“ — Л-ад 1926 года, стр. 64 — 78.
Брик. Почему понравился „Цемент“. „На лит. посту“, № 2, 1926.

5. О Шагинян.

Троцкий. „Литература и революция“ — Гиз. Москва, 1924 г., стр. 85 — 87.
Федоров-Давыдов. „Шагинян“ — „Перемена“ — рецензия „Печать и Революция“ 1925 г., кн. I, стр. 282—283.

6. О книге Р. Гуль.

„Ледяной поход“ — рецензия М. Г. „Молодая гвардия“, 1923 года, кн. VII—VIII.



План гражданской войны 1918—1919 г.г.

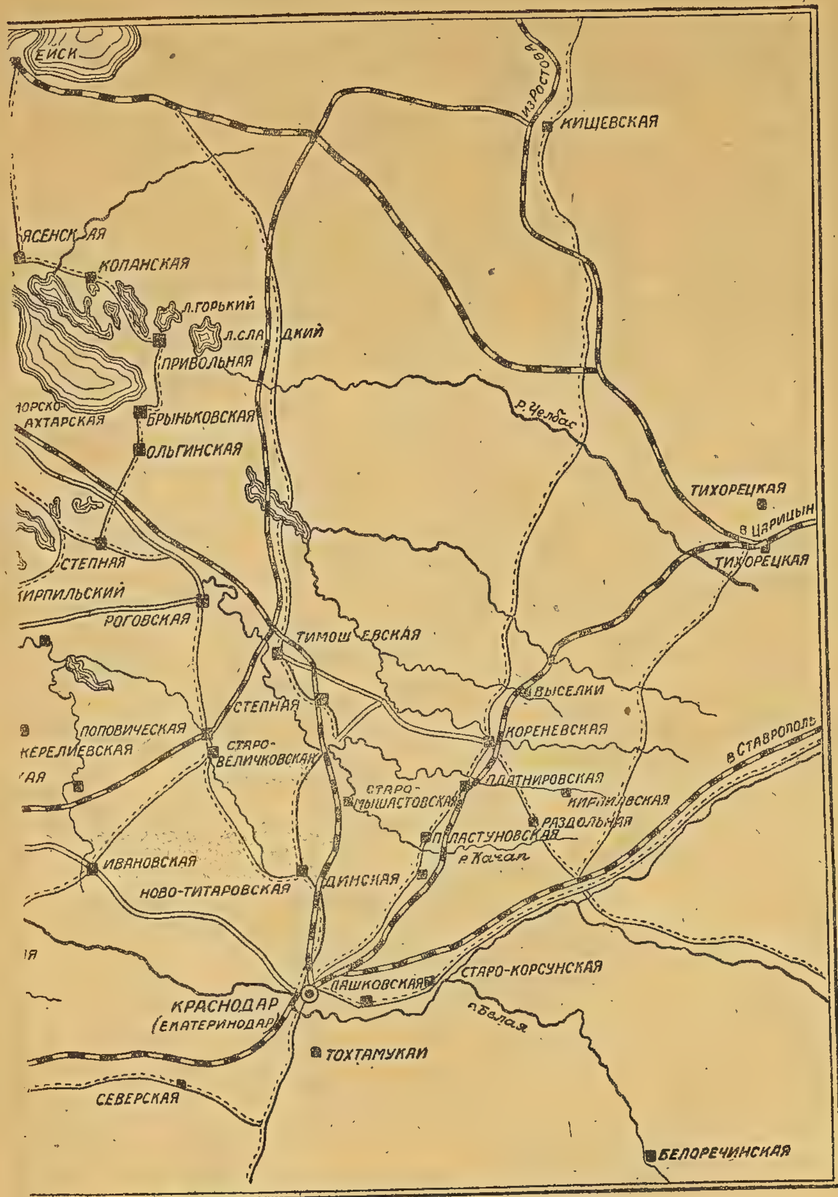


План гражданской войны 1920—1922 г.г.

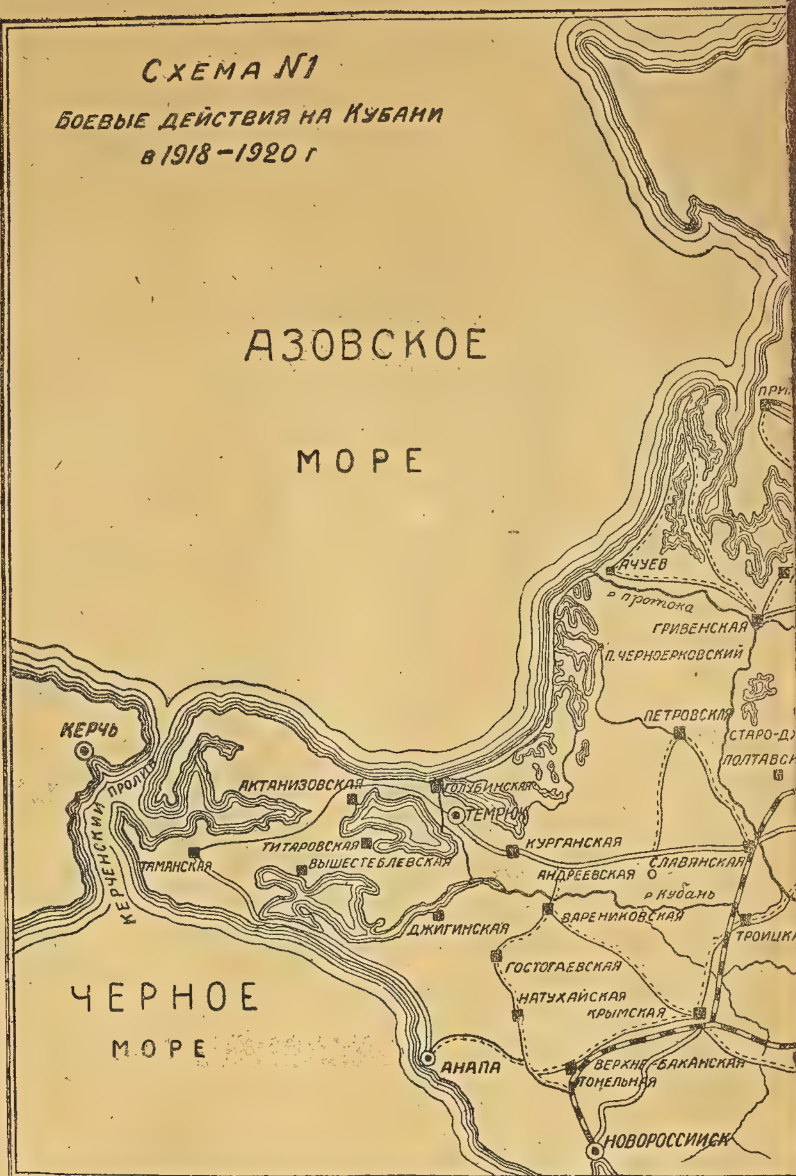


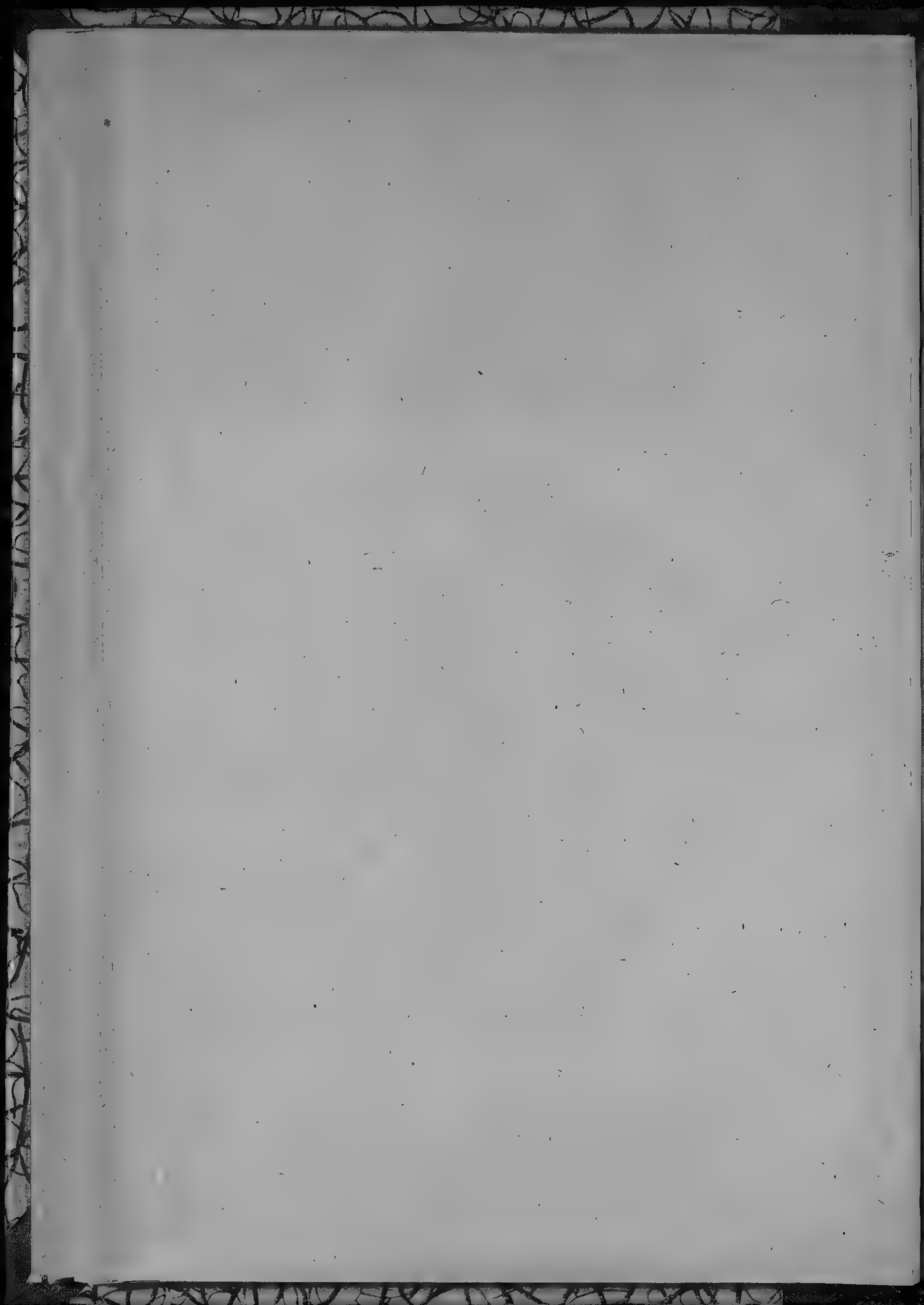

Схема № 2
Поход Таманцев к Армавиру
Ново-Николаевская
Тимошевск
р. Протока
в Тихорецкую
в Ростов
Кавказская
Кавказская
в Ставрополь
Темрюк
Славянская
Варениковская
р. Кубань
Джигинская
Троицкая
Уст Лабинская
р. Кубань
Романовский
Динская
Екатеринодар
Краснодар
Крымская
Анапа
Бугаз (?)
Верхне-Баканская
Тоннельная
Северская
Пхтамукай
Новороссийск
Ставропольская
Ключевая
Геленджик
Береговая
Черное море
Ново-Михайловская
Туапсе
Хадыжинская
Гиагинская
Белореченская
Ханская
Пшехская
Майкоп
Лабинская
Михайловская
р. Лаба
р. Чаплык
Курганная
Армавир
из Баку

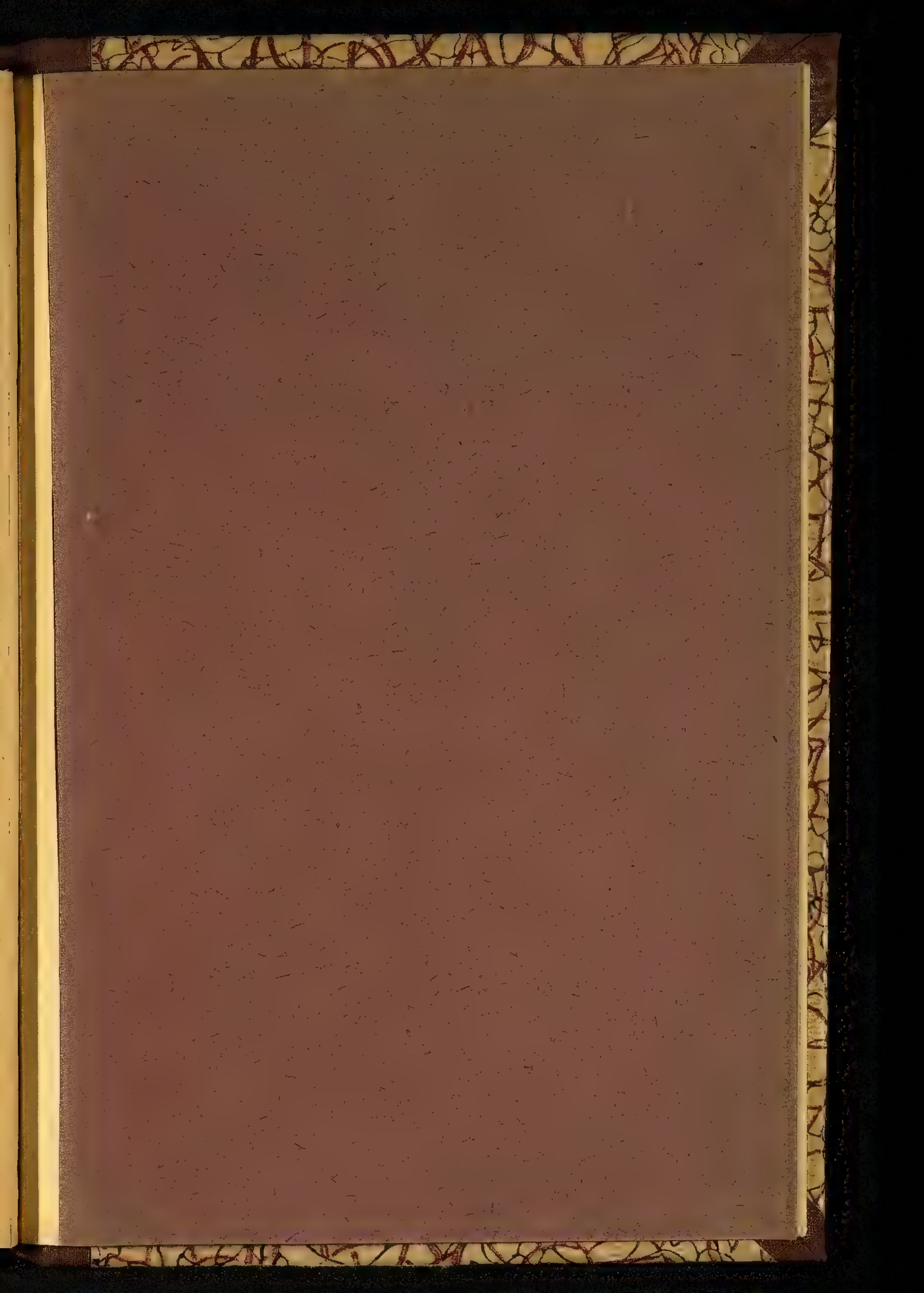




ЕЙСК
из Ростова
КИЩЕВСКАЯ
ЯСЕНСКАЯ
КОЛАНСКАЯ
л. ГОРЬКИЙ
л. СЛАДКИЙ
ПРИВОЛЬНАЯ
ОРСКО-
АХТАРСКАЯ
р. Челбас
БРЫНЬКОВСКАЯ
ОЛЬГИНСКАЯ
ТИХОРЕЦКАЯ
в ЦАРИЦЫН
ТИХОРЕЦКАЯ
СТЕПНАЯ
ИРПИЛЬСКИЙ
РОГОВСКАЯ
ТИМОШЕВСКАЯ
ВЫСЕЛКИ
СТЕПНАЯ
ПОПОВИЧЕСКАЯ
КОРЕНЕВСКАЯ
КЕРЕЛИЕВСКАЯ
СТАРО-ВЕЛИЧКОВСКАЯ
ПЛАТНИРОВСКАЯ
СТАРО-МЫШАСТОВСКАЯ
РАЗДОЛЬНАЯ
ПЛАСТУНОВСКАЯ
р. Качан
в СТАВРОПОЛЬ
ИВАНОВСКАЯ
НОВО-ТИТАРОВСКАЯ
ДИНСКАЯ
ПАШКОВСКАЯ
СТАРО-КОРСУНСКАЯ
КРАСНОДАР
(ЕКАТЕРИНОДАР)
р. Белая
ТОХТАМУКАЙ
СЕВЕРСКАЯ
БЕЛОРЕЧИНСКАЯ


Схема №1
Боевые действия на Кубани
в 1918–1920 г
АЗОВСКОЕ
МОРЕ
ЧЕРНОЕ
МОРЕ
КЕРЧЬ
КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
АКТАНИЗОВСКАЯ
ГОЛУБИНСКАЯ
ТЕМРЮК
ТИТАРОВСКАЯ
ВЫШЕСТЕБЛЕВСКАЯ
ТАМАНСКАЯ
КУРГАНСКАЯ
АНДРЕЕВСКАЯ
СЛАВЯНСКАЯ
р. Кубань
ДЖИГИНСКАЯ
ВАРЕНИКОВСКАЯ
ГОСТОГАЕВСКАЯ
НАТУХАЙСКАЯ
КРЫМСКАЯ
АНАПА
ВЕРХНЕ-БАКАНСКАЯ
ТОНЕЛЬНАЯ
НОВОРОССИЙСК
АЧУЕВ
р. Протока
ГРИВЕНСКАЯ
П. ЧЕРНОЕРКОВСКИЙ
ПЕТРОВСКАЯ





Цена 1 руб.



СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:
Ростов-Дон, ул. Ф. Энгельса № 90.
Москва, Ильинка, Богоявленский пер. 4, Торгсектор ГИЗ'а, ком. № 18

